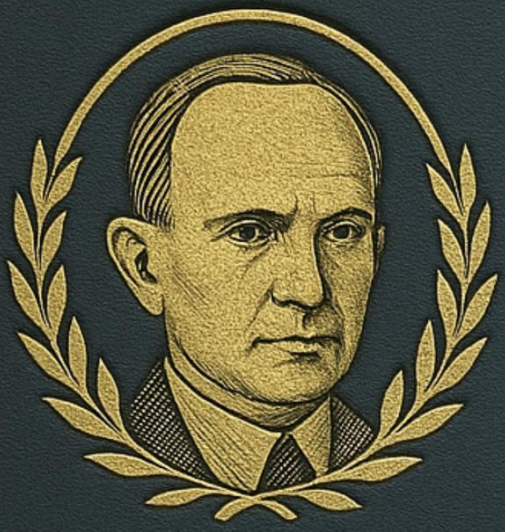


Дон-Аминадо



ВАЛЕНТИН
ТАРАНОВ

Валентин Таранов

Дон-Аминадо. Литературный портрет

«Автор»
2025

Таранов В. Г.

Дон-Аминадо. Литературный портрет / В. Г. Таранов — «Автор», 2025

Это книга о творчестве замечательного, но малоизвестного в России, русского поэта и прозаика, сатирика и юмориста, талант которого наиболее ярко проявился в период между двумя мировыми войнами и первое послевоенное десятилетие. «Удивительная способность к стихосложению» в сочетании с блестящим, всегда в точку остроумием, сделали его наиболее популярным среди литераторов первой волны русской эмиграции. Его имя знали все эмигранты, вся Европа, он был известен за океаном. И только в России о нем знали считанные люди. Так продолжалось почти 70 лет.И вот сегодня, начиная с конца 80-х, Дон-Аминадо возвращается домой. И приносит в каждый дом и современность, и ностальгию, и неиссякаемый юмор, без которого невозможно жить. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!

© Таранов В. Г., 2025
© Автор, 2025

Содержание

ДОН-АМИНАДО 6
1.ЕГО ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 9
2.ЕГО ТЕАТР ЮМОРА 81
Конец ознакомительного фрагмента. 113

Валентин Таранов
Дон-Аминадо. Литературный портрет

Валентин Таранов

Внимай, читатель,
будешь доволен.
Апулей

ДОН-АМИНАДО
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ

Это книга о творчестве замечательного, но малоизвестного в России, русского поэта и прозаика, сатирика и юмориста, талант которого наиболее ярко проявился в период между двумя мировыми войнами и первое послевоенное десятилетие. «Удивительная способность к стихосложению» в сочетании с блестящим, *всегда в точку* остроумием, сделали его наиболее популярным среди литераторов первой волны русской эмиграции. Его имя знали все эмигранты, вся Европа, он был известен за океаном. И только в России о нем знали считанные люди. Так продолжалось почти 70 лет.

И вот сегодня, начиная с конца 80-х, Дон-Аминадо возвращается домой. И приносит в каждый дом и современность, и ностальгию, и неиссякаемый юмор, без которого невозможно жить. **Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Его поэзия и проза.
До… (эмиграции)
Из сборника «Песни войны» 1914, 1915
…и После (в эмиграции)
Из сб. Дым без Отечества» 1921
Из сб. «Наша маленькая жизнь» 1927
Из сб. «Накинув плащ» 1928
Из сб. «Нескучный сад» 1935
Из сб. «В те баснословные года» 1951
Мемуары «Поезд на третьем пути» 1954

2.Его театр юмора
«его университеты» (из «Поезда…»)
«Весна семнадцатого года» (пролог)
«Патэ-журнал» русской эмиграции
Сценарий «Суд над русской эмиграцией»

3.Из его переписки
1920 – 1929гг.
1030 – 1939гг.
1940 – 1955гг.

4.Современники о нём
Иван Бунин
Александр Куприн
Михаил Цетлин
Георгий Адамович
Зинаида Гиппиус
Леонид Зуров
Андрей Седых
Александр Бахрах

Зинаида Шаховская
Марк Вишняк

5.Его Энтузиасты на рубеже веков:
в литературе и публицистике;
в авторской песне на его стихи.

Приложения. **В поисках Дон-Аминадо**
Фрагмент публикации Н.Б.Волковой о письме
М.И.Цветаевой Дон-Аминадо.
Об архиве Дон-Аминадо в РГАЛИ.
Фрагмент из книги Паолы Волковой «Цена "Nostas» -
жизнь.
Е.Степанов. Рассказ о балладе Дон-Аминадо
«Заветы Ильича», или «Двенадцать».
Цивис (карикатурист Сергей Цивинский)
Некоторые сведения из Бахметевского архива.
О.Лагашина. Отзыв на диссертацию
Марко Каратоццоло.
PS. Анатолий Иванов. Друг «Последних новостей»
(Дон-Аминадо. <Слово о В.Е.Жаботинском>)

Послесловие

От автора

Имени Дон-Аминадо в СССР я никогда не слышал.

В самом конце 2012 г. волею судеб мы с женой оказались в Канаде, в г.Ванкувер, где уже жила наша дочь с семьей.

Это было время, когда переписка по электронной почте вошла почти в каждый дом, и любой уважающий себя человек уже не мог без нее существовать.

Сразу же началась интенсивная переписка с друзьями – товарищами, оставшимися по ту сторону океана. Среди них был и мой давний коллега по работе в НИИ, который, зная о моем пристрастии к литературе и искусству, начал присылать посты с интереснейшей информацией о художниках, коллекциях, поэтах и прозаиках. Немного раньше начали появляться все чаще и чаще публикации о деятелях культуры России, оказавшихся за границей после Октябрьского переворота.

И вот однажды, наверное, в 2014-15г. пришел пост, который начинался стихотворением «Ночной ливень (На даче)», сопровождаемый симпатичными стилизованными изображениями какого-то декоративно-мифического содержания. Пост был большим, и стихов было много.

К своему стыду, должен признаться, что я не большой любитель поэзии. Но чем дальше я читал, тем больше они мне нравились. Было в них что-то, с чем раньше я никогда не сталкивался – какая-то цельность и неожиданность сюжета, ритмика и мелодика стиха, легкость и точность рифмы, покоряющее и неиссякаемое остроумие…

Так я впервые встретился с Дон-Аминадо. *И заболел им.* Мне захотелось узнать о нем как можно больше. Но вокруг никто его не знал. И я начал искать в интернете. В процессе поисков понял, что нужно самому о нем написать. И написал – эссе. В 2016г. В форме публичной лекции. Назвал «Дон-Аминадо. Возвращение домой».

Мне тогда казалось, что, во-первых, такое название соответствует истинному положению вещей и, во-вторых, эссе должно быть опубликовано в России. Однако несколько моих попыток публикации эссе на Родине поэта оказались неудачными. Что-либо изменить в этом плане из-за океана я не мог. Кончилось это тем, что я, следуя за моим героем, скрылся под псевдонимом Глеб Клюев, и опубликовал эссе в интернет-журнале «Семь искусств» (№4, 2017) в Германии (эта публикация в другой тональности, с некоторыми изменениями и сокращениями составила первый раздел этой книги).

Стало ясно – История не закончена. История продолжается!

Прошло семь лет (как быстро!), и вот сегодня, когда в мире все изменилось, и он стоит на голове, когда миру этому не до Дон-Аминадо, я все же представляю на суд широкой аудитории книгу о нем, не сомневаясь, что, как говорил мой старый друг, «книга своего читателя найдет».

1.ЕГО ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Как рассказать минувшую весну,
Забытую, далекую, иную,
Твое лицо, прильнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?
Была весна, которой не вернуть…
Коричневые, голые деревья.
И полых вод особенная муть,
И радость птиц, меняющих кочевья.
Апрельский холод. Серость. Облака.
И ком земли, из-под копыт летящий.
И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.
О, помню, помню!.. Рявкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,
Той свежестью набухшего зерна
И пыльною уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна,
Приученная к позднему цветенью.
Дон-Аминадо. «У*ездная сирень*».

Как рассказать о талантливом русском поэте и писателе конца Серебряного века, которого 3/4 века астрономического замалчивали и не пускали на Родину. И только в последнюю его четверть, когда сняты были все запреты и открылись информационные шлюзы, с ним познакомились и даже стали понемногу эксплуатировать. Но делали это почему-то так «невнятно», что ни старшее, ни молодое поколения по-прежнему его не знают…

Как донести до них, этих самых поколений, замечательного поэта, который в течение 20-ти лет, практически изо дня в день, помогал первой русской эмиграции, поддерживая ее юмором и облегчая жизнь в тяжелых, непривычных условиях чужбины…

Как рассказать о «белых» периодах его жизни, которые были, но малоизвестны, и каждый для себя должен что-то там увидеть, понять, почувствовать, додумать…

Как рассказать об этом человеке так, чтобы, используя одинаковые источники, не повториться и не потеряться за специалистами и любителями, уже выступившими с большими и малыми публикациями…

Как, наконец, рассказать о нем так, чтобы его узнали **все**…И есть для того только его творчество и два мнения – современников и собственное!

Итак, **ДОН-АМИНАДО** (Аминад Петрович Шполянский; 1888-1957).

Все его творчество пронизано юмором. Почему? Откуда он, этот юмор, взялся? Врожденное свойство? Когда-то А.П.Чехов сказал, что «Есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни». Т. е. – наследственность? Но нет никаких сведений о его родителях. Имя? Из Библейской энциклопедии Брокгауза известно, что Аминадав (отец щедрости) – предок Давида и, стало быть, и Иисуса Христа. Но щедрости и юмора в тех временах тоже немного. Однако не случайно же он сразу попал на орбиту

«Сатирикона», где печатались такие прописные на тот момент юмористы как А.Аверченко, Н.Теффи, Саша Черный.

Глядя на портрет Дон-Аминадо, никак не скажешь, что он завзятый остряк. Скорее наоборот – вдумчивый и могущий сопереживать человек (впрочем, как и его коллеги по перу). Наверное, правы те, кто считает физиогномику псевдонаукой. Но как бы там ни было, а факт остается фактом – Дон-Аминадо не мог писать о жизни без смеха и улыбки. Видимо, такой взгляд он приобрел или развил в детстве и юности?…И есть лишь один источник, который может помочь разобраться с этим вопросом – его творчество.

ДО…(эмиграции)

Появился на свет и вырос в провинции (Елисаветград) – *Есть блаженное слово—провинция, есть чудесное слово—уезд*.

Гимназия… *Дух справедливости тогда, конечно, был поярче и поактивнее нынешнего: встать на защиту буров в 13-14 лет…в порядке вещей, несмотря на угрозу директорской немилости и, главное,– издевательство и презрительные насмешки усатых восьмиклассников, говоривших басом и только о любви.*

Книги? *Зачитывались мы Мачтетом. В большом почете была госпожа Марлитт; чувствительный Ауэрбах, со своей «Дачей на Рейне»; и в особенности Фридрих Шпильгаген. <….> Надо ли пояснять, что было нам тринадцать лет, а книга называлась только и всего, что «Анна Каренина»! От Квазимодо к Вронскому, и от Эсмеральды к Китти дистанция была огромного размера. Да что дистанция! Пропасть самая настоящая… <…> А потом пришел не учитель, а друг. И целого поколения верный и неизменный спутник – Антон Павлович Чехов. И, невзирая на безбородую юность нашу, учуяли мы его быстро и поняли, что это всерьез, и надолго, и может быть, навсегда. «Леди Макбет» можно преодолеть и перерасти. Но перерасти и преодолеть Чехова… «его, как первую любовь», и не могли, и не сумели бы вырвать из сердца.*

Театр. *Одним из страстных увлечений ранних гимназических лет был театр. Только в провинции любили театр по-настоящему. Преувеличенно, трогательно, почти самоотверженно, и до настоящего, восторженного одурения. Это была одна из самых сладких и глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседневных, часто унылых и прозаических будней, в мир выдуманного, несуществующего, сказочного и праздничного миража.*

А актёры! Актрисы! Служители Мельпомены! Жрецы, «хранители священного огня»! Актер Судьбинин. Актер Орлов-Чужбинин. Черман-Запольская, на роли гран-кокетт. Два трагика, два брата Адельгейма, Роберт и Рафаил. Скарская. Кольцова-Бронская. Анчаров-Эльстон. Мурский. Пал Палыч Гайдебуров. Любимов. Любич. Любин. Любозаров. Михайлов-Дольский. И Строева-Сокольская. И первая меж всех,– никакая Сарра Бернар не могла ее заменить и с ней сравниться,– Вера Леонидовна Юренева.<…> —Должно быть успех тоже вскружил ей голову— одной рукой посылала воздушные поцелуи на галерку, в бель – этаж и в бенуар, а другой прижимала к груди то букет белых гвоздик, с атласной лентой, то одну из наших злополучных фуражек, брошенных к ее божественным ногам!



А в положенное время – *в первую четверть,– учебный год, как известно, состоял из четырех четвертей,– предметом вечной любви была тонкостанная и голубоглазая Лида Мерцалова; героиней второго триместра— Женя Крамаренко, среднего роста, но с темно-карими глазами; а за три месяца до аттестата зрелости, музой и вдохновительницей первых хромых гекзаметров была уже Дуся Хоржевская, которая, если б только хотела, смело могла бы быть возлюбленной Петрарки и умереть от холеры… Да, что ж скрывать. До знакомства с символистами, декадентами, имажинистами, футуристами мы были, хотя и верзилы, но чистой воды романтики.*

Каким чудом получили мы аттестат зрелости, мы и сами понять не могли.

– В Москву, в Москву, в Москву…

Помечтать помечтали, а в действительности оказались не в Москве, на Моховой, а в императорском Новороссийском университете в Одессе, на Преображенской улице, и на юридическом факультете, само собой разумеется.<…>. Обаяние имен – А. Ф. Кони, Ледницкого, Куперника, Плевако, Пассовера, Карабчевского, Андреевского, кн. Эристова, Маклакова,

Тесленко, Слиозберга – немало содействовало этому повальному эпидемическому увлечению судом, защитой, престижем сословия присяжных поверенных.

Одесский этап Аминада Шполянского, очевидно, был решающим в его становлении.

Новороссийский университет того времени, о котором идет рассказ, был одним из самых мрачных во всей империи. А еще мрачнее и бездарнее был его юридический факультет.

В таких обстоятельствах студент нашел «лазейку» в круг литераторов, художников, музыкантов.

«В глубине двора, подальше от треска экипажей и гомона фланирующей по Дерибасовской публики, еще в 60-х годах XIX века размещалась «пивная зала» Николаи. Позже она уступила место имевшему статус ресторана «пивному заведению» Брунса, которое было колоритной достопримечательностью этого старого дома. Волею случая ли, судьбы или того и другого, но пивная Брунса стала штаб-квартирой одесской творческой интеллигенции. Чуть ли не ежевечерне тут в голубом и ароматном сигарном дыму мелькали бархатные блузы художников, бритые лица актеров, студенческая тужурка А. Шполянского – будущего известного сатирического поэта Дона Аминадо, изящно повязанный под белоснежным воротничком галстук и ухоженная, волосок к волоску, бородка академика Бунина… И под звон пивных кружек все время кто-то уходил, а кто-то приходил, одних шумно приветствовали, других весело разыгрывали, дружно обсуждали новый спектакль, недавно выставленное на вернисаже полотно или только что напечатанный рассказ. В общем, все было в истинно парижском духе, как в каком-нибудь тамошнем кафе» – это из «Прогулок по старой Одессе» Ростислава Александрова (Розенбойма) – коренного одессита, беззаветно влюбленного в свой город.

Теперь – у Дон-Аминадо:

Так, например, пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво,<…>

После вторников у Додди, где собирались художники, писатели и артисты и где красному вину удельного ведомства отдавалась заслуженная дань, считалось, однако, вполне естественным завернуть к Брунсу и освежиться черным пенистым пивом. Сухой, стройный, порывистый, как-то по особому породистый и изящный, еще в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шел молодой Иван Алексеевич Бунин; за ним, как верный Санчо-Пансы, семенил, уже и тогда чуть-чуть грузный, П. А. Нилус; неразлучное трио – художники Буковецкий, Дворников и Заузе—составляли, казалось, одно целое и неделимое;<…>

Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кафейное заведение Либмана,– все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, <…> Но был им присущ какой-то еще особый дух большого приморского города с его разношерстным, разноязычным, но в космополитизме своем по преимуществу южным, обладающим горячей и беспокойной кровью населением. Жест в этом городе родился раньше слова. Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке – если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный.

Здесь пора отвлечься и кое-что сказать об этом самом «особом духе».

Все мы знаем, что Одесса – столица юмора. Это не обсуждается. Принято считать, что в ней какие-то особые вода, воздух, море. Но почему? Об этом никто не задумывался. Никто никогда даже не предположил, что здесь замешан Пегас, что он, наверняка, в свое время побывал и в Одессе. И, имея беотийский опыт, ударил копытом, заржал и… оставил здесь одесскую Иппокрену, несущую в себе, в отличие от греческой, не только творческое вдохновение, но и смех, и улыбку. И случилось это не, как там, в одном месте, на каком-то Геликоне, а, из-за

отсутствия в Южной Пальмире всяких хребтов, в нескольких обрывистых и не очень эриях, ну, скажем, на Малых и Больших фонтанах.

Если такое предположение верно, тогда все становится на свои места:

Ильф и Петров, Бабель, Жванецкий (а сколько еще?) – как у Пушкина «*И светлой Иппокреной/ С издетства напоенный,/Под кровом вешних роз (*читай – акаций*)/Поэтом я возрос*»;

«Настоящее мюнхенское пиво», что подавали у Брунса, наверняка, варили в Одессе, используя воду из местной Иппокрены.

Не склонный к частой улыбке академик И. Бунин здесь пародировал своих друзей, вызывая гомерический хохот, а студент Аминад Шполянский в таких обстоятельствах оказался в совершенно безвыходном положении и вынужден был окончательно выбрать путь поэта – юмориста.

Странно лишь, что «босяк» Ал-др Ив. Куприн, не раз приходя со своим другом-академиком во двор дома Вагнера отдать дань чудному напитку (см. «Легенды Одессы» Вал-на Крапивы), воспев «Гамбринус» и Сашку-скрипача, нигде не вспомнил о располагавшемся неподалеку заведении инженера Брунса.

Все студенческие годы Ам. Шполянский вел не только богемный образ жизни, но и был чрезвычайно активен на поприще журналистики.

Будет о чем поговорить на лиманах, на Фонтанах, у Либмана, у Робина, у Фанкони, в городе и в свете, а также в редакциях всех трех газет—«Одесских новостей», «Одесского листка» и «Южного обозрения».

Новороссийский антракт кончался.

Мы знали наперед, что университетские годы вспомнить будет нечем. Хвала Аллаху, молодость от университета не зависит.

Блажен, кто вовремя постиг, /В круговорот вещей вникая, /А не из прописей и книг, /Что жизнь не храм, а мастерская. Блажен, кто в этой мастерской, /Без суеты и без заботы. / Себя не спрашивал с тоской /О смысле жизни и работы…

Итак прощайте, лиманы, фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл,—

Киевский эпилог окрылил молодые сердца (получение диплома).

В Москву. Снова вокзал. Снова звонок. – Поезд на втором пути!.

Только вслушайся – навек запомнишь! – Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка. – Молчановка. Маросейка. Сухаревка. Лубянка. – Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка. И еще не все: Швивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово поле. – Арбат. Миуссы. Бутырская застава. – Дорогомилово… Одно слово чего стоит! – Охотный ряд. Тверская. Бронная. Моховая. – Кузнецкий Мост. Неглинный проезд. – Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие Пруды. Кудринская, Страстная, Красная площадь. Не география, а симфония!

Записаться в сословие, заказать фрак с атласными отворотами, а также медную дощечку с выгравированным стереотипом <…> и чрез любые ворота – Ильинские, Спасские, Иверские—с деловым видом пройти через Кремлевский двор, мимо Оружейной Палаты, к белому, величавому зданию московских судебных установлений; проглотить слюну и войти.

Подымаешься по мраморной лестнице, прежде всего— заглянуть в святая святых: Митрофаньевский зал. Здесь по делу игумены Митрофании гремел и блистал сам Федор Никифорович Плевако.

– Талант, нутро, стихия! С присяжными заседателями делал, что хотел.

Подражать Тесленко было немыслимо и сложно. Зато небрежная, овальная, не очень тщательная щетинка Маклакова и опущенные вниз усы имели большой успех и немалый тираж.

Старожилы говорили, что такого количества снега, как в 1910 году в ноябре месяце, никто никогда на роду своем не запомнит. В газетах все чаще и чаще появлялись тревожные вести из Ясной Поляны.

Случилось так, что рядовой свидетель истории, оказался в толпе яснополянских паломников. (Ам. Шполянский был командирован корреспондентом газеты «Голос юга»).

Опять это чувство железной дороги. Законная ассоциация идей. Образ Вронского, пальто на красной подкладке; испуганный, молящий, счастливый взгляд Анны; снег, буря, метелица, искры паровоза, летящие в ночь; роман, перевернувший душу, прочитанный на заре юности; смерть Анны, смерть Толстого.<…>

За версту, другую до Козловой Засеки толпа, народ, мужики в рваных тулупах, бабы из окрестных деревень, люди всякого звания, студенты, конные казаки, курсистки с курсов Герье, безымянные башлыки, чуйки, шубы,– и чем ближе, тем больше, теснее, гуще, и вот уже от края до края одно только человеческое месиво и море, море голов. Ракшанин вынул записную книжку и послушным карандашом отметил: – Сотни тысяч. По сведениям канцелярии Тульского губернатора оказалось на все про все – около семи тысяч человек, самое большое. Надо полагать, что на этот раз истина была на стороне канцеляриии. <…> Стоять долго нельзя. Взглянуть, запомнить, запечатлеть в душе, в сердце, в памяти, унести, сохранить навсегда – образ единственный, неповторимый.<…>



Кружились дни, летели месяцы, проходили годы.

Москва жила полной жизнью. Мостилась, строилась, разрасталась. Тянулась к новому, невиданному, небывалому. Но блистательной старины своей ни за что не отдавала и от прошлого отказаться никак не могла.

С любопытством глядела на редкие лакированные автомобили, припершие из-за границы. А сама выезжала в

Б. Кустодиев. Масленица. 1919

просторных широкоместных каретах, неслась на тройках, на голубках, а особое пристрастие питала к лихачам у Страстного монастыря, против которых как устошь, не поддашься соблазну?

Театр, балет, музыка. Художественные выставки, вернисажи. Газеты, журналы. Попав сюда, Ам. Шполянский сразу же, и с головой окунулся в привычную, насыщенную новизной жизнь. Когда читаешь в «Поезде» о театрах и театральных премьерах – только руками разводишь от удовольствия; о газетах и журналах – опять же. Ну, а когда о литературной жизни Москвы – получаешь истинное наслаждение. С какой точностью, юмором, любовью или непри-

ятием нарисованы портреты В.Брюсова, А.Дункан, С.Есенина, М.Цветаевой, В.Ходасевича, Д.Мережковского, В.Маяковского, И.Северянина и др.

Эпоха развертывалась вовсю,– в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее—в отравном, и ядовитом, и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений.

Можно предположить, что Аминад Шполянский превратился в Дон-Аминадо где-то в 1912-13 году, когда впервые появился в «Сатириконе». К этому моменту за его плечами был приличный журнально-газетный опыт. И, самое главное, он чувствовал уверенность в своих силах, которые подкреплялись не только легкостью пера, но и энергией, напористостью, желанием быть если не первым, то обязательно в первых рядах. Одновременно в нем формировался профессионализм газетчика, который в дальнейшем не позволял многим литераторам с именем относиться к нему как к большому поэту и прозаику.

Кроат, серб, гимназист 19-ти лет убил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. И жена, герцогиня, тоже убита. Не везет старому Францу Иосифу. <…> А тут, как назло, самый разгар сезона!.. На лоншанских скачках жеребец Сарданапал берет первый приз и, весь в мыле, пьет шампанское из серебряного ведра. А вечером у княгини Жак-де-Брой бал бриллиантов, о котором еще за две недели до убийства герцога говорит весь Париж.<…>

Сарданапал в конюшне. Бал кончился. Выстрелом в упор убит Жорес.<…>

18-го июля всеобщая мобилизация.<…>

Кончились происшествия. Начались события. <…>

Через две недели утряслось. Через месяц-другой все ко всему привыкли.<…>

Граждан была горсть, обывателей тьма - тьмущая, неисчислимая.<…>

А потом стали привыкать и к раненым, безногим, безруким, изувеченным. Жалели, конечно, сочувствовали…<…>

До рокового, 1914 года не покидала афиш «Веселая вдова». Но так как Франц Легар по тщательном расследовании оказался подданным Франца Иосифа, то вдову с сожалением сняли с репертуара.

«По распоряжению г. одесского градоначальника, вчера был закрыт один из самых популярных ресторанов в Одессе «Брунс» – Дерибасовская ул., дом Вагнера. Ресторан этот был открыт в 1850 г. официантом-греком Николаем. Заведовала рестораном некая Каролина Фишер, которая затем вышла замуж за инженера Генриха Брунса, прибывшего в числе других из Австрии для постройки ю. з. ж. д. Генрих Брунс сделался владельцем ресторана .Дела ресторана пошли великолепно, Брунс скоро разбогател и недавно уступил ресторан своему зятю австрийско-подданному А. Фишеру .Ресторан посещали, главным образом, немцы».

"Маленькие Одесские Новости" 15(2) августа 1914 года.

Война началась на исходе июля. Дон-Аминадо недавно исполнилось 26 лет. Он был сразу же мобилизован. Вскоре ранен и комиссован. В том же 1914г. выпустил свой первый сборник стихов (в 1915г.—второе издание). Большого успеха сборник не имел. Вот несколько стихотворений оттуда, на мой взгляд, наиболее удачных.





Так надо!…

До свиданья, мой нежно любимый,
До свиданья, мой светлый жених!
Собери эти слезы и вымой
Раны в жарких слезинках моих!

Сразу скрылося солнце за тучу,
Сразу спряталось счастье от нас.
Не сердись на меня, что я мучу
И тебя, и себя в этот час!

Это сердце всегда было радо
Твоему покоряться уму.
Ты печально промолвил: "Так надо!"
Я не смела спросить: "Почему?"

Обовью эти мощные плечи!
Не отдам эти кудри врагу!
Ты уходишь? Так надо?.. Я свечи
Пред старинной иконой зажгу!

Буду жарко молиться, чтоб злую
Отвратила погибель гроза,
А потом горячо поцелую
Дорогие, родные глаза!

О, печальные девушки, верьте:
Не отнимет любимых судьба!
Разве веет дыхание Смерти
Вкруг высокого, чистого лба?

Загремели призывные трубы,
Словно стаи проснувшихся птиц.
И горячие девичьи губы
У любимых трепещут ресниц.

А колес надоедливый ропот
Заглушает свистком паровоз.
Торопливый, стремительный шепот
Оборвался и замер средь слез.

…Еле слышна вдали канонада.
Груда мертвых и раненых тел.
Зоркий ястреб, кружась, пролетел
И на труп опустился…– Так надо!..

И изогнутый клюв свой как раз
Он вонзает в закрытые веки
Этих скорбных, уснувших навеки -

Бесконечно целованных глаз!..

1914

КТО ПРАВ?

У них был спор о тайне мира.
Один – мудрец. Другой – поэт.
Судьбой дана поэту лира.
Другому – опыт долгих лет.

И, убеленный сединами,
Мудрец смиренно изрекал:
– Не создан мир великий нами,
Но я в нем истину искал!

Я в книгу тайную природы
Свой погружал пытливый ум.
Бежали дни, тянулись годы
В плену величественных дум.

Весенней бабочки строенье,
Волны рокочущий прилив
Рождали новое сомненье,
Исканьем душу окрылив!

И понял я, что тайна мира,
Во всем сокрытая,– одна,
Она в безгранности эфира
И в малой капельке видна.

К земле ли взор опустишь тленной,
Измеришь мысленно ли высь,-
Один указан путь вселенной,
Один закон: живи! трудись!

– О, нет! – восторженный и праздный,
Ему ответствовал поэт,-
Не сможет труд твой безобразный
Пленить прекрасный этот свет!

Послушай мерные напевы
В прибрежном шуме тростника,
Взгляни в глаза прекрасной девы,
На краску крыльев мотылька!

Послушай море в час прибоя,
Как шепчут пенные струи!
Внимай, как небо голубое
Безумно славят соловьи!

И кто сильнее и чудесней
Певца пред смолкшею толпой?!
Весь мир живет одною песней!
Живи, поэт! Живи и пой!

– Поэт! Не нами мир устроен!..
– Старик! Но тайна, тайна в чем?..
…Но в этот миг пришедший воин
Отсек им головы мечом!..

1915

Пятнадцатый год на исходе, будущее полно неизвестности, но встречу Нового года надо отпраздновать, как следует.

Задолго до 31 декабря все столики записаны, переписаны, закуплены, перепроданы. Даже в проходах, за столиками, обитыми красным шелком, каждый вершок высчитан, учтен, принят во внимание. Съезд поздний, представление начинается в 10 часов. В Гнездниковском переулке, на Тверском бульваре, ни пройти, ни проехать. В гардеробной, или, как говорили театральные завсегдатаи, в раздевалке,– столпотворение вавилонское. Свежий морозный воздух врывается в беспрестанно распахиваемые двери, и от этого еще чудеснее и острее пахнут надушенные «Гэрлэном» и «Убиганом» горностаевые, собольи, каракулевые меха. А кругом все ботики, ботики, ботики, тающий на кожаной подошве снег, и отраженные в зеркалах Галатеи, Ниобеи, Венеры московские, и мундиры, и фраки, и четко выделяющиеся белоснежные накрахмаленные пластроны. В театре триста мест, а присутствует вся Москва.

Ходили по рукам записочки, лубки, загадочные картинки, воззвания, стишки, эпиграммы, неизвестных авторов поэмы, весь этот не то сумбур, не то своеобразный народный эпос, всегда предшествующий чему-то необыкновенному, роковому и неизбежному.

Вот фрагмент «панегирика» Григорию Распутину (автор – Дон-Аминадо)

Была война, была Россия.
И был салон графини И.,
Где новоявленный Мессия
Хлебал французское Аи.<…>

Княгини, фрейлины, графини
Летят, как ведьмы на метле.
И быстро падают твердыни
В бесстыдной обморочной мгле.

А чародей, змея, мокрица,
Святой прохвост и склизкий хам
Все извивается, стремится
К державе, к скипетру, к верхам.

Легенда кончилась, началась заварушка. Одна длилась столетия, другой отсчитано восемь месяцев. <…>

Сначала разоружили бородатых, малиновых городовых<…> Вместо полиции, пришла милиция, вместо участков комиссариаты, вместо участковых приставов присяжные пове-

ренные, которые назывались комиссарами.<…> Вслед за милицией появилась красная гвардия. И наконец, первые эмбрионы настоящей власти: Советы рабочих и солдатских депутатов. По ночам ячейки заседали, одиночки грабили, балов не было, но в театре работали вовсю. Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к объединению, к войне до победного конца. Даже Владимир Маяковский, и тот призывал…

Воодушевленный революционным подъем 29-летний республиканец тоже не остается в стороне и пишет Политический памфлет под названием «Весна семнадцатого года». В шести картинах с прологом и эпилогом он с сарказмом показывает судьбы обреченных на забвение монархов и их приспешников, и, конечно, победивших борцов за свободу.

Пьеса поставлена (май 1917 г.) в Новом театре П. В. Кохмановского.

Скоро приедет Ленин в запломбированном вагоне.

В феврале был пролог. В октябре—эпилог. Представление кончилось. Представление начинается.

Почти все московские газеты не только продолжали выходить, но, озираясь по сторонам и оглядываясь, даже позволяли себе не только целомудренные возражения и осторожную критику, но и некоторые субтильные вольности, за которыми, впрочем, следовало немедленное заушение, конфискация, и закрытие.

Пульс страны бился на Лубянке.

Жизнь бьет ключом, но больше по голове. Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.

Швейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес. – Приходили, спрашивали, интересовались. Человек он толковый, и на ветер слов не кидает. Выбора нет.

В русской Орше последний обыск. Все, что было контрреволюционного, отобрали: мыло фабрики Раллэ, папиросы фабрики «Лаферм», царские сторублевки с портретом Екатерины.

… Киев нельзя было узнать. Со времен половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства. На улицах толпы народу. В кофейнях, на террасах не протолпиться.

Скоро придет Петлюра.

Газет тьма-тьмущая.

– Как же так, Александр Фомич? У вас свобода печати, а вы закрываете, штрафуете, грозите казнями египетскими… Ответ краткий: – По-российску не баю. По-москальску не розумию…

Не негодуя, не кляня,
Одно лишь слово! Но простое! –
Пусть будет чуден без меня
И Днепр, и многое другое…

небольшое отступление

Шполянский, Шполянский…Как только услышал эту фамилию тут же…возник М.А.Булгаков. Кажется, что-то в «Белой гвардии»…Нервно листаю первый том (1992г.)…Да вот же он – Михаил Семенович Шполянский. Читаю…Отвратительный тип. Чем же этот Шполянский так «насолил» автору? Кто он? Неужели Дон-Аминадо? Не может быть! Или может? Уж больно схож: и поэт, и «превосходный чтец», и даже чрезвычайно похож на Евгения Оне-

гина (а вот это последнее сходство не корреспондируется – Аминад Петрович, в отличие от Михаила Семеновича был и роста небольшого, и бархатные бакенбарды не носил).

Конечно, тут же в Интернет (и надолго).

Не сразу, но выяснилось, что прототипом прапорщика Шполянского, скорее всего, является Виктор Борисович Шкловский, который, опять же, в отличие от Аминада Петровича, стихов не писал, однако вполне мог подсыпать сахару в жеклеры (читай, в карбюратор). Вот что пишет по этому поводу известный специалист по расшифровке «Белой гвардии» Б.Соколов.

Прототипом Шполянского послужил известный писатель и литературовед Виктор Борисович Шкловский, а фамилия заимствована у известного поэта-сатирика и фельетониста Аминада Петровича Шполянского, писавшего под псевдонимом Дон Аминадо. Он, в отличие от Шкловского, действительно писал стихи, как и булгаковский Шполянский, но к подпольной борьбе, а тем более к «засахариванию» гетманских броневиков, никакого отношения не имел. А вот Шкловский в начале 1918 года действительно находился в Киеве, служил в броневом дивизионе гетмана и, как и романный Шполянский, «засахаривал» броневики, описав все это подробно в мемуарной книге «Сентиментальное путешествие». Правда, Шкловский был тогда не большевиком, а членом боевой левоэсеровской группы, готовившей восстание против Скоропадского.

Почему же В.Б.Шкловский стал М.С.Шполянским? Ну, тут, вероятнее всего, надо вспомнить известную французскую поговорку…Я лишь напомню, что 1) прототипами «роковой женщины» Юлии Рейсс, вероятно, были Валентина Сынгаевская (да, да, сестра друга) и Наталья Рейс (дочь генерала), с которыми, возможно, Михаила Афанасьевича связывали когда-то романтические отношения, и 2) Булгаков, несмотря на эпатажный монокль, женщин видел и различал хорошо.

Что касается Виктора Борисовича, то, судя по некоторым чертам персонажей «Белой гвардии», можно допустить его близость к кругу Булгакова, где, не исключено, и «пересеклись мужские интересы Шполянского и Турбина».

И все же…нет ответа «Почему Булгаков дал бойкому прапорщику фамилию Шполянский! За что, походя, обидел неповинного человека?

Дон-Аминадо был в Киеве в 1918г. Но пересекался ли с Булгаковым? Свидетельств тому нет никаких. Но наиболее вероятно – они встретились. А если даже и не были знакомы, то Булгаков, наверняка, слышал о Шполянском. И слышал что-то не очень доброе. При приверженности Булгакова к польским фамилиям с окончанием на *ский* (Сынгаевский – Мышлаевский, Гладыревский – Шервинский) вполне подходил для любого персонажа и Шполянский. Да и Шклов, и Шпола были чем-то созвучны. Дон-Аминадо в начале 20-х годов еще не имел того веса и значения, которое приобрел в иммиграции впоследствии. Вот по всему потому, видимо, и получил почти мистический герой булгаковского романа фамилию «развеселого негодяя» (о котором см. дальше).

Интересно, читал ли Аминад Петрович в Париже роман Михаила Афанасьевича?… Надо думать – читал! А вот какое он на него произвел впечатление – нам остается только догадываться.

Из Москвы – в Киев, из Киева—в Одессу.

На рейде—«Эрнест Ренан». В прошлом философ, в настоящем броненосец. Международный десант ведет жизнь веселую и сухопутную. Марокканские стрелки, сенегальские негры, французские зуавы на рыжих кобылах, оливковые греки, итальянские моряки – проси, чего душа хочет!

Большевики в ста верстах от города.

А что думает генерал Деникин, никто не знает.

Столичные печенеги прибывают пачками. Обходят барьеры, рогатки, волчьи ямы, проволочные заграждения, берут препятствия, лезут напролом, идут, прут, валом валят. Музыка играет, штандарт скачет, все как было, все на месте, фонтаны, лиманы, тенора, грузчики, ночные грабежи, «Свободные мысли» Василевского.

Газет как грибов после дождя.

Театры переполнены, драма, опера, оперетка, всяческих кабаре хоть пруд пруди, а во главе опять «Летучая мышь» с неутомимым Никитой Балиевым. Сытно, весело, благополучно, пампушки, пончики, булочки, большевики через две недели кончатся, «и на обломках самовластья напишут наши имена»… Несогласных просят выйти вон. Пейзаж, однако, быстро меняется. Небо хмурится, сто верст, в которые уверовали блаженные, превращаются в шестьдесят, потом в сорок, потом в двадцать пять.

Смена власти произошла чрезвычайно просто. Одни смылись, другие ворвались. Впереди, верхом на лошади, ехал Мишка-Япончик, начальник штаба.

За жеребцом, в открытой свадебной карете, мягко покачиваясь на поблекших от времени атласных подушках, следовал атаман Григорьев. За атаманом шли победоносные войска. Оркестр играл сначала «Интернационал», но по мере возраставшего народного энтузиазма быстро перешел на «Польку-птичку» и, не уставая, дул во весь дух в свои тромбоны и валторны. За армией бегом бежала Молдаванка,

Жизнь сразу вошла в колею.

Расстреливали пачками, укладывали штабелями, засыпали землей, утрамбовывали. Наутро все начиналось снова.

Проходили дни, недели, месяцы, из Москвы сообщали, что Ильич выздоровел и рана зарубцевалась. Все это было чрезвычайно утешительно, но в главном штабе Григорьева выражение лиц становилось все более и более нахмуренным.

История повторялась с математической точностью. – Добровольческая армия в ста верстах от города, потом в сорока, потом в двадцати пяти. Слышны были залпы орудий.

Ранним осенним утром в город вошли первые эшелоны белой армии.

Открылись шлюзы, плотины, меняльные конторы. В огромном зале Биржи пела Иза Кремер. В другом зале пел Вертинский.

В конце концов, на заграничных паспортах, которые с большой неохотой выдал полковник Ковтунович, начальник контрразведки, появилась волшебная печать, исполненная еще неосознанного, и только смутным предчувствием угаданного смысла. Печать была четкая и бесспорная. Но смысл ее был роковой и непоправимый.

Не уступить. Не сдаться. Не стерпеть.
Свободным жить. Свободным умереть.
Ценой изгнания все оплатить сполна.
И в поздний час понять, уразуметь:
Цена изгнания есть страшная цена.

Группа литераторов и ученых быстро учла положение вещей. Опять кинулись к консулу, консул к капитану, капитан потребовал паспорта, справки, свидетельства, коллективную расписку, что в случае аварии никаких исков и претензий к французскому правительству не будет, и в заключение заявил: – Бесплатный проезд до Константинополя, включая паек для кочегаров и литр красного вина на душу.

20 января 20-го года – есть даты, которые запоминаются навсегда, – корабль призраков, обугленный «Дюмон д'Юрвиль», снялся с якоря.

Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной. И те, кто стоял наверху, на обгоревшей пароходной палубе. Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех:

Здесь обрывается Россия
Над морем Черным и глухим.
(это О.Мандельштам)
…И ПОСЛЕ (в эмиграции)

Константинопольское житие было недолгим.
Константинополь
Лаванда, амбра, запах пудры,
Чадра и феска, и чалма.
Страна, где подданные мудры,
Где сводят женщины с ума.<…>
……
Еще дрожит в воде Босфора
Резной и четкий минарет.
И муэдзин поет, что скоро
Придет на землю Магомет.
Но сын расхватанной России
Не верю я, Аллах прости,
Ни Магомету, ни Мессии,
Ни Клод Фарреру, ни Лоти!

Здесь следует остановиться и обратить внимание на два момента.

Первый. Безусловно, читатель уже почувствовал прелесть слова и слога Дон-Аминадо. И получил удовольствие! Удовольствие от ощущения рельефности того или иного персонажа или события. Удовольствие от неизменно доброй иронии автора, с которой он рисует своих героев. И это неудивительно, потому как складывается впечатление, что воспоминания писались по-импрессионистски, не пером или кистью, а мастихином, широким мазком, когда на полотне остается красочный, выпуклый след, который можно потрогать, пощупать. Обычно так пишут, когда спешат, когда некогда останавливаться и…когда рукой движет вдохновение. Ничего подобного в мемуаристике больше нет.

Второй. Выше приведены коротенькие выдержки позволили связать воедино нить жизни Аминада Петровича Шполянского до эмиграции. После – воспоминаний заметно меньше. Зато есть сборники стихотворений и прозы, и, кроме того, высказывания современников о поэте. Потому дальше изложение построено на цитировании наиболее «зацепивших» автора-составителя стихотворений и фрагментов фельетонов, а также имеющихся писем и свидетельств, иногда сопровождаемых рисунками «в тему».

Париж оказался для Дон-Аминадо благотворным.



Эдуард Леон Кортес.
Елисейские поля

ПАРИЖ
1. Горячий бред о том, что было.
И ураган прошедших лет.
И чья-то бедная могила.
И чей-то милый силуэт.
И край, при мысли о котором
Стыдом, печалью и позором
Переполняется душа.
И ты, которая устало
В мехах московских утопала,
Красою строгою дыша.
И дом, и скрип зеленой ставни.
И блеск оконного стекла.
И сон, и давний, и недавний.
И жизнь, которая текла.
И нежность всех воспоминаний,
И мудрость радости земной.
И все, что было ранней-ранней
Неповторимою весной.
И то, чем жизнь была согрета
И от чего теперь пуста,
Я все сложил у парапета

Резного Сенского моста.

2
Не ты ли сердце отогреешь
И, обольстив, не оттолкнешь?!
Ты легким дымом голубеешь
И ты живешь и не живешь.
Ты утончаешь все движенья,
Облагораживаешь быль.
И вечно ищешь достиженья,
Чтоб расточить его, как пыль.
Созревший, сочный и осенний,
Прикосновений ждущий плод,
Ты самый юный и весенний.
Как твой поэт, как твой народ.
Латинский город, где кираса
Не уступает каноть.е.
Где стансы Жана Морсаса
Возникли в сумерках Готье.
Где под часовенкой старинной
Дряхлеет сердце короля.
Где сумасшедшею лавиной
Чрез Елисейские поля
В Булонский лес, зеленый ворот,
Стесненный пряжкой Этуаль,
Летит, несется, скачет город,–
Одна певучая спираль.
3
И я с тобою, гость случайный,
Бегу, чтоб только превозмочь
Мою окутанную тайной
И неизвестностию ночь.
Чтоб размотать на конус пиний
Тоскливых дум веретено,
Чтоб выпить этот вечер синий,
Как пьют блаженное вино.
Благословить моря и сушу
И дом чужой, и отчий дом,
И расточить больную душу
В прозрачном воздухе твоем. 1920

Именно здесь расцвел его талант. Именно здесь в 20 – 30-е годы он превратился в человека, нужного всей русской эмиграции. Будучи сотрудником ежедневной газеты «Последние Новости», он, практически каждый день, публиковал в ней юмористические, сатирические, лирические, наконец, стихи, рассказы, фельетоны, памфлеты. Их ждали. Ждали эмигранты всех мастей: шоферы и фермеры, в которых превратились офицеры и казаки, нищая интеллигенция – бывшие адвокаты, учителя, врачи и пр., коллеги-литераторы, генералы и представители царской фамилии. Ждали не только в Париже, но и по всей Франции, и по всей Европе.

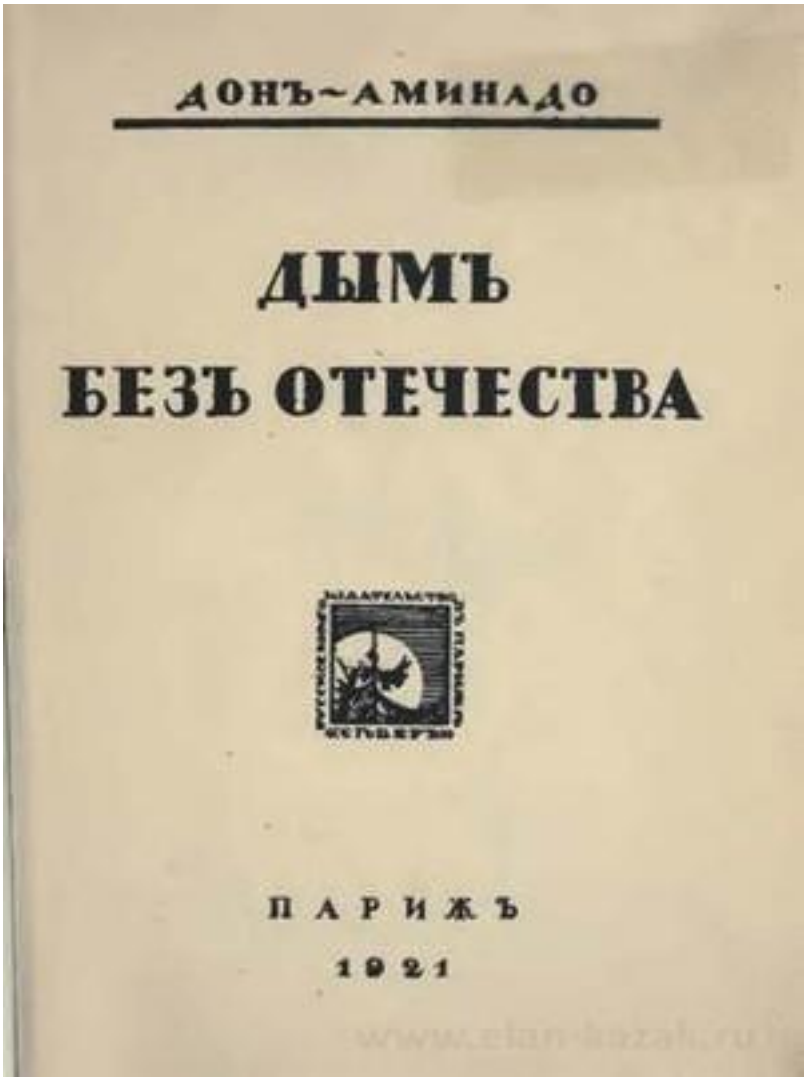
Творчество Дон-Аминадо вселяло в людей надежду, удовлетворяло какие-то запросы, направляло образ мыслей, и, конечно, всегда вызывало добрую улыбку или смех.

Об этом очень хорошо сказал **Д.П. Святополк-Мирский (1890–1939гг.), литературовед, публицист**): *«…самый главный из прославившихся уже в эмиграции писателей, самый любимый, истинный властитель дум зарубежной Руси – Дон-Аминадо. Благодаря Дон-Аминадо мы можем сказать про Париж: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», пахнет Крещатиком и Ланжероновской, так как живы здесь Последние Новости, достойный наследник Киевской Мысли и Южного Края. Конечно, Дон-Аминадо ближе, социологически и политически, к Алданову, чем к генералу Краснову, но он стоит выше партийных и классовых перегородок и объединяет все зарубежье на одной, всем приемлемой платформе всеобщего и равного обывательства. Благодаря ему, несмотря на значительное преобладание в эмиграции монархистов над республиканцами, Последние Новости читаются неизмеримо больше, чем Возрождение, которое вместо Дон-Аминадо преподносит глубокомысленную проблематику Мережковского и Муратова».*

Дон-Аминадо, несмотря на кажущуюся легкость стиха, работал как каторжный (об этом позже, глазами очевидца). Но, тем не менее, уровень и качество его творчества были настолько высоки, что даже коллеги по перу, которые любили его, терялись и досадовали на него из-за погружения в журналистику в ущерб очевидному таланту большого поэта. Видимо, пытаясь как-то вырваться из повседневной «рутины» и подняться до всеобщего признания окружающих, Дон-Аминадо, время от времени, собирает свои газетные и журнальные стихи и фельетоны и издает их отдельными небольшими сборниками. Слава Богу, что у него достало для этого времени и амбиций, поскольку сейчас возможно проследить его творческий путь.

В 1921 году выходит **сборник «Дым без отечества».**





А мы бессильные помочь,
Копили желчь свою упрямо
И повторяли день и ночь
Россия – яма, яма, яма.
Петлюра, гетман, дьявол, черт!
При каждом рявкании пушки
Мы лезли толпами на борт,
На паровозы и в теплушки.
И что везли? Холопский гнев
Лишенных собственного крова.
И утешение, что Лев
Не Троцкий Лев, а Троцкий Лева!
Четвертый год холодной мглы.
Четвертый год – одно и тоже.
Произведи нас хоть в ослы,
О, Боже, милостивый Боже!

ЗАСТИГНУТЫЕ НОЧЬЮ
Живем. Скрипим. И медленно седеем.

Плетемся переулками Passy.
И скоро совершено обалдеем
От способов спасения Руси.
****
И некто не родившийся родится.
Серебряными шпорами звеня,
Он сядет на коня и насладится –
Покорностью народа и коня
1921

ЧЕСТНОСТЬ С СОБОЙ
Через двести—триста лет жизнь
будет невыразимо прекрасной.
Чехов
Россию завоюет генерал.
Стремительный, отчаянный и строгий.
Воскреснет золотой империал.
Начнут чинить железные дороги.
На площади воздвигнут эшафот,
Чтоб мстить за многолетие позора.
Потом произойдет переворот
По поводу какого-нибудь вздора.
Потом… придет конногвардейский полк:
Чтоб окончательно Россию успокоить.
И станет население, как шелк.
Начнет пахать, ходить во храм и строить.
Набросятся на хлеб и на букварь.
Озолотят грядущее сияньем.
Какая-нибудь новая бездарь
Займется всенародным покаяньем.
Эстетов расплодится, как собак.
Все станут жаждать наслаждений жизни.
В газетах будет полный кавардак
И ежедневная похлебка об отчизне.
Ну, хорошо. Пройдут десятки лет.
И Смерть придет и тихо скажет: баста.
Но те, кого еще на свете нет,
Кто будет жить – так, лет через полтораста,
Проснутся ли в пленительном саду
Среди святых и нестерпимых светов,
Чтоб дни и ночи в сладостном бреду.
Твердить чеканные гекзаметры поэтов
И чувствовать биения сердец,
Которые не ведают печали.
И повторять: «О, брат мой. Наконец!
Недаром наши предки пострадали!»
Н-да-с. Как сказать… Я напрягаю слух,
Но этих слов в веках не различаю.

А вот что из меня начнет расти лопух:
Я – знаю.
И кто порукою, что верен идеал?
Что станет человечеству привольно?!
Где мера сущего?! – Грядите, генерал!..
На десять лет! И мне, и вам—довольно!
1920
ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
Мы будем каяться пятнадцать лет подряд.
С остервенением. С упорным сладострастьем.
Мы разведем такой чернильный яд
И будем льстить с таким подобострастьем
Державному Хозяину Земли,
Как говорит крылатое реченье,
Что нас самих, распластанных в пыли,
Стошнит и даже вырвет в заключенье.

Мы станем чистить, строить и тесать.
И сыпать рожь в прохладный зев амбаров.
Славянской вязью вывески писать
И вожделеть кипящих самоваров.
Мы будем ненавидеть Кременчуг
За то, что в нем не собиралось вече.
Нам станет чужд и неприятен юг
За южные неправильности речи.
Зато какой-нибудь Валдай или Торжок
Внушат немалые восторги драматургам.
И умилит нас каждый пирожок
В Клину, между Москвой и Петербургом.
Так протекут и так пройдут года:
Корявый зуб поддерживает пломба.
Наступит мир. И только иногда
Взорвется освежающая бомба.
Потом опять увязнет ноготок.
И станет скучен самовар московский.
И лихача, ватрушку и Восток
Нежданно выбранит Димитрий Мережковский.
Потом… О, Господи, Ты только вездесущ
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь ***от беловежских пущ***
Пойдет начало с прежним продолженьем.
И вкруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка—Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.
И чье-то право обрести в борьбе
Конгресс Труда попробует в Одессе.
Тогда, о, Господи, возьми меня к Себе,
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!

1920

ОЧЕНЬ ПРОСТО
Дипломат, сочиняющий хартии,
Секретарь политической партии,
Полномочный министр Эстонии,
Представитель великой Ливонии,
Президент мексиканской республики,

И актер без театра и публики,
Петербургская барыня с дочками,
Эмигрант с нездоровыми почками,
И директор трамвая бельгийского,
Все… хотят возрожденья российского!
И поэтому нужно доказывать,
Распоясаться, плакать, рассказывать

Об единственной в мире возлюбленной,
Распростертой, распятой, загубленной,
Прокаженной и смрадной уродине,
О своей незадачливой родине,
Где теперь, в эти ночи пустынные,
Пахнут горечью травы полынные,
И цветут, и томятся, и маются,
По сырой по земле расстилаются.
1920

ПИСАНАЯ ТОРБА
Я не могу желать от генералов,
Чтоб каждый раз, в пороховом дыму,
Они республиканских идеалов
Являли прелести. Кому? и почему?!
Когда на смерть уходит полк казацкий,
Могу ль хотеть, чтоб каждый, на коне,
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе просвещения в стране.

Есть критики: им нужно до зарезу,
Я говорю об этом, не смеясь,
***Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу**,*
В кавалерийскую атаку уносясь.
Да совершится все, что неизбежно:
Не мы творим историю веков.
Но как возвышенно, как пламенно, как нежно
Молюсь я о чуме для дураков!
1920

Бунин писал о «Дыме без отечества» как о книге «поминутно озаряемой умом, тонким талантом – едкий и холодный «дым без отечества, дым нашего пепелища … Аминадо он ест глаза иногда до слез».

В 1927г. выходит новый, **прозаический сборник** коротких зарисовок – рассказов о жизни «маленького человека» эмиграции.





С легкой руки Надежды Теффи русская эмиграция, расселившаяся на обоих берегах Сены, в Латинском квартале и в Пасси, получила название

«Городок». И вот что он из себя представлял:

«Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: – Живем худо, как собаки на Сене… Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины— малороссами. Женщины шили друг другу платья и делали шляпки,

мужчины делали друг у друга долги. Остальную часть населения составляли министры и генералы. Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке. Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галереи не заглядывали и плодами чужой культуры пользоваться не хотели…». И еще: *«Русский Париж, это как большой губернский город. Только без губернатора. Университет, клубы, газеты, журналы, благотворительные балы, рестораны, магазины, пассажи, выставки, больницы, клиники, ясли и партии.*

Все есть.

Академики, баритоны, писатели, читатели, банкиры, рабочие, студенты, медики, инженеры, шоферы, присяжные поверенные, танцоры, „джигиты", зародыши и лидеры.

Все есть! И все русское!. За исключением театра, тюрьмы и кладбища. Которые французские».

Несколько фрагментов из сборника.

УРОКИ РУССКОЙ *ИСТОРИИ. Таким образом, с 1926 года после Р. Х. и начинается история Зарубежного Русского Государства. Овладев Парижем и назвав его зарубежной матерью городов русских, вышеперечисленные племена определили размер дани и обложили друг друга.*

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ МОЗГОВЫХ ПОЛУШАРИЙ. Диктатором называется человек, умеющий диктовать. Все остальные пишут под диктовку и называются населением. Кто не желает подчиняться правилам правописания, высылается вон и называется эмигрантом. При диктатуре пролетариата правописание—новое, при едином диктаторе правописание—старое. Но эмигранты неизбежны при всех правописаниях.<…> Самое лучшее, когда диктатор из военных. <…>Он распустил парламент и особым декретом уничтожил дамские декольте. Через несколько дней страна расцвела.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Сенька, подержи мои семечки, я ему морду набью. В этих простых словах ясно чувствуется отвращение к парламентаризму.

ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ… В противодействие Союзу Советских Республик в Париже образовался Союз Русских Дворян. Человек, происходящий по прямой линии от Руслана и Людмилы, имеющий в качестве одной бабушки Пиковую даму, а в качестве другой бабушки Аскольдову могилу, такой человек только презрительно пожмет плечами и закажет себе кафэ-натюр, и выпьет его за здоровье своих предков!.. Что может быть общего у прямого потомка Бахчисарайского фонтана с каким-то постным разночинцем, у которого, может быть, и совсем не было никаких родителей?!

№ 4711. В рассказе «№ 4711» описан очень «современный» спор о прахе Тутанхамона. Его ведут многочисленные эмигрантские партии, – и все это, не считая 17 союзов пожилых молодежей, русских бой- скаутов, фашистов, кобылистов, подбонапартистов и подписчиков Марины Цветаевой плюс».

ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ. Из опросного листа: Состоите ли вы в браке, или так?.. Есть ли у вас писаная торба? И как вы думаете вернуться на родину: на белом коне или пешком?

НАУКА СТИХОСЛОЖЕНИЯ. Для того чтобы писать стихи, надо прежде всего не думать. Стих должен литься, как вода из водопровода, хлюпая во все стороны.

КУПРИН. А он вот ходит бочком по рю-де-Пасси, тут же рядом, да еще и вечера устраивает. Оно, конечно, русских Анютиных глазок здесь и в помине нету, но Куприн-то, хоть и близко, и в переулке, и совсем рядом, а все тот же он: – Куприн! И надо к нему в Пасси, как в Гатчину, приехать, почтительно шляпу снять и сердечно справиться: – А как, мол, себя Александр Иванович чувствовать изволит…

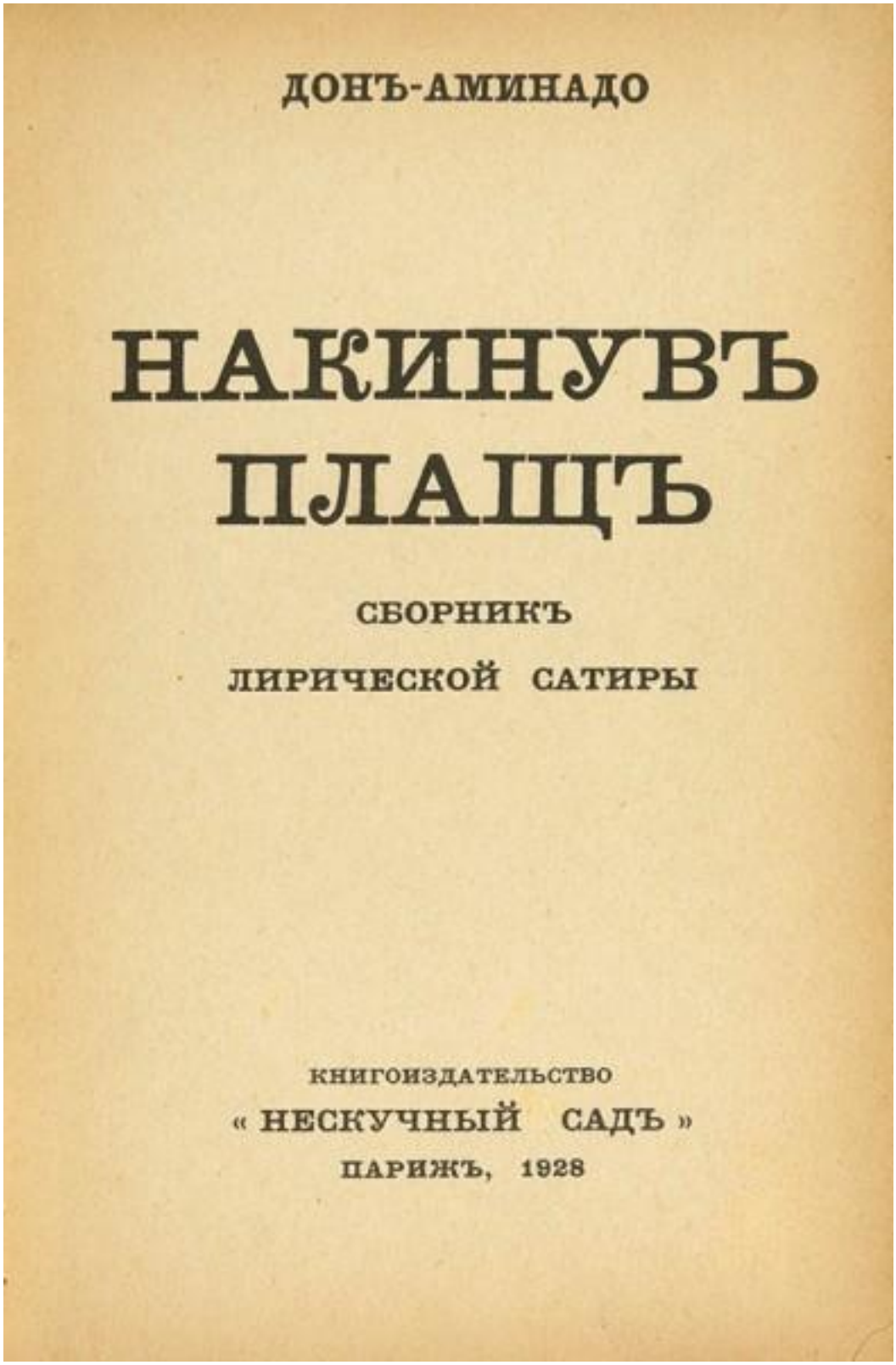
САМОВНУШЕНИЕ. Все, что можно было внушить окружающим, мы уже внушили,– и то, что мы не эмиграция, а Россия, выехавшая за границу. Внушение, как известно, подействовало блестяще… Европа носится с нами как с писаной торбой и прямо не знает куда посадить. Таким образом, с точки зрения международной мы устроились. Но в личной жизни, каждодневной, обыденной, будничной, до полного благополучия еще далеко. Нельзя же предположить, что все два миллиона поют в цыганском хоре, танцуют казачка, а в антрактах едят паюсную икру. Бывает, что и не едят. <…> Зачем в самом деле обострять отношения со своей личностью, когда для этого имеется достаточное количество личностей совершенно посторонних?..

ЧТО ЖЕ НАМ ВСЕ-ТАКИ ДЕЛАТЬ?!
«Но не фер? Фер-то ке?!» Н. Тэффи

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
Итак, Милостивые Государыни и Милостивые Государи. Поменьше диспутов и побольше прохладительных напитков! История не любит непрошеных вмешательств. Поздно мелют мельницы богов, но все получат очередь в перемоле. Настанет время – и все образуется, как говорил лидер нашей партии, камердинер Стивы Облонского!

КВАРТИРОЛОГИЯ
Любая парижская консьержка имеет: от роду не менее пятидесяти двух лет, аппетит волчицы, бюст Екатерины Второй и характер Агриппины Младшей.

ВЫБОРЫ КОРОЛЕВЫ. Десять лет назад мы были, всего-навсего, беглецами. Потом мы стали беженцами. Потом – скороходами. И наконец – эмигрантами. Короче говоря, мы создали: свои привычки, свои нравы, свою особую жизнь, мир, быт, порядок, законы, обычаи, партии и учреждения. Думаем мы по-русски. Говорим по-французски. А Пасси и просто склоняем во множественном числе. Земли у нас ни километра, землячеств тысячи. И при всей этой лихорадочной и напряженной деятельности мы еще успеваем: жениться, разводиться, размножаться, писать мемуары, перелицовывать пиджаки и выбирать королеву русской колонии! <…>


ДОНЪ-АМИНАДО
НАКИНУВЪ ПЛАЩЪ
СБОРНИКЪ
ЛИРИЧЕСКОЙ САТИРЫ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
« НЕСКУЧНЫЙ САДЪ »
ПАРИЖЪ, 1928



В 1928 году – еще **сборник** стихов.

ГОРОДА И ГОДЫ
*Старый **Лондон** пахнет ромом,*
Жестью, дымом и туманом.
Но и этот запах может
Стать единственно желанным.

*Ослепительный **Неаполь,***
Весь пронизанный закатом,
Пахнет мулями и слизью,
Тухлой рыбой и канатом.

*Город **Гамбург** пахнет снедью,*
Лесом, бочками и жиром,
И гнетущим, вездесущим,
Знаменитым добрым сыром.

*А **Севилья** пахнет кожей,*
Кипарисом и вербеной,
И прекрасной чайной розой.
Несравнимой, несравненной.
*Вечных запахов **Парижа***
Только два. Они все те же:
Запах жареных каштанов
И фиалок запах свежий.

Есть чем вспомнить в поздний вечер,
Когда мало жить осталось,
То, чем в жизни этой бренной
Сердце жадно надышалось



Но один есть в мире запах
И одна есть в мире нега:
Это русский зимний полдень,
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить
Сердце, помнящее много.
И уже толпятся тени
У последнего порога.
1927

СТАРАЯ АНГЛИЯ
Но весело, ярко пылает камин,
А чайник поет и клокочет,
Клокочет, как будто он в доме один
И делает все, что захочет.
А черный, огромный и бархатный кот,
С пленительным именем Томми,
Считает, что именно он это тот,
Кто главным является в доме.
***
За окнами стужи, туманы, снега.
А здесь, как на старой гравюре,
Хрусталь, и цветы, и оленьи рога,
И важные кресла, и блеск очага,

И лампы огонь в абажуре.
Я знаю, и это, и это пройдет,
Развеется в мире безбрежном.
И чайник кипящий, и медленный кот…
И женщина с профилем нежным. 1927

АРБАТСКИЕ ГОЛУБИ
Если бы я, как старик со старухой,
Жил у самого синего моря,
Я бы тоже, наверно, дождался
Разговора с волшебною рыбкой.
Я сказал бы ей: «Как тебя?.. Рыбка!
Дай-ка выясним честно и прямо,
Что мы можем хорошего сделать,
Так сказать, для начала знакомства?
Столбового дворянского званья
От тебя я иметь не желаю,
Потому что, по совести молвить,
Никакого не вижу в нем толку.
Что касается почестей царских,
То на них я не льщусь совершенно:
Хорошо это пишется в сказке,
Только худо читается в жизни.
Не влекут мою душу хоромы,
Терема да резные палаты.
Это все я, голубушка, видел
И… постигнул непрочность постройки.
Не того, государыня-рыбка,
От щедрот твоих жду, а другого:
Восемь лет я сижу у корыта,
Каковое корыто разбито.
Восемь лет я у берега моря
Нахожусь в ожиданье погоды…
А хотел бы я жить в переулке,
Возле самой Собачьей площадки,
Где арбатские голуби летом
Меж собою по-русски воркуют.
Очень много душа забывает
Из того, что когда-то любила.
А вот видишь, каких-то голубок,
Сизых пташек простых – не забыла.
Ты меня не поймешь, потому что
Как-никак, а ты все-таки рыба,
И, конечно, на удочку эту
Уж тебя никогда не поймаешь.
Но, коль правда, что ты расторопна,
А не просто селедка морская,
Так не можешь ли сделать ты чудо,

Сотворить это дивное диво?!
А об нас, государыня-рыбка,
Не тужи, когда в море утонешь.
Мы, хотя старики и старухи,
А назад побежим… Не догонишь!» 1926

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Ты помнишь снег, и запах снежный,
И блеск, и отблеск снеговой,
И стон, и крик, и скок мятежный
Над безмятежною Москвой,
И неба синие шинели,
И звезды пуговиц на них,
И как пленительно звенели
Разливы песен молодых,
И ночью тихой, ночью сонной
То смех, то шепот заглушённый,
И снег, о! снег на Малой Бронной,
На перекрестке двух Козих?!..
В кругу содвинутых бутылок
Наш глупый спор, российский спор,
Его поток и милый вздор,
Фуражки, сбитой на затылок,
Академический задор,
И тостов грозные раскаты,
И клятвы мщенья за грехи,
И все латинские цитаты,
И сумасшедшие стихи!
Потом приказ – будите спящих!
Зажечь костры!.. И, меж костров,
Ты помнишь старых, настоящих,
Твоих седых профессоров,
Которых слушали вначале,
Ты помнишь, как мы их качали,
Как ватный вырвали рукав
Из шубы доктора всех прав!..
Как хохотал старик Ключевский,
Как влез на конный монумент
Максим Максимыч Ковалевский,
Уже толстяк, еще доцент…
Потом, ты помнишь, кони-птицы
Летят в Ходынские поля,
Танцуют небо и земля,
И чьи-то длинные ресницы,
Моей касаяся щеки,
Дрожат, воздушны и легки.
Снежинки тают, мчатся, вьются,
Снежинок много, ты одна,
А песни плачут и смеются,

А песни льются, льются, льются,
И с неба, кажется, сорвутся
Сейчас и звезды, и луна!.. …
Промчалось все. А парк Петровский
Сегодня тот же, что вчера.
Хрустит, как прежде, снег московский
У Патриаршего пруда.
И только старость из тумана
За нами крадется, как тать.
Ну, ничего, моя Татьяна…–
Коли не жить, так вспоминать. 1926

В АЛЬБОМ
Я гляжу на вас, Нанета,
И испытываю гордость.
Я все думаю: откуда
Эта сдержанная твердость?
Эти милое проворство,
И рассчитанность движений.
И решительность поступков,
Не терпящих возражений?
Если б в старом Петербурге
Мне сказали, что Нанета,
Эта хрупкая сильфида,
Эта выдумка поэта,
У которой как перчатки
Настроения менялись,
И у ног которой сразу
Все поклонники 'стрелялись,
Если б мне тогда сказали,
Что, цветок оранжерейный,
Эта самая Нанета
Этой ручкою лилейной
Будет шить, и мыть, и стряпать,
И стучать на ундервуде,
Я бы только улыбнулся,
Ибо что я смыслю в чуде?!.
Между тем, моя Нанета,
Это чудо совершилось.
Правда, многое на свете
С той поры переменилось.
Но из всех чудес, которым
Овладеть дано душою,
Это вы, моя Нанета,
Чудо самое большое!
Это вы крестом болгарским
Шьете шаль американке
И приносите, сияя, Ваши собственные франки.
Это вы, накрасив губки,

Отправляетесь на рынок,
Поражая взор торговок
Лаком лаковых ботинок.
Это вы, царя на кухне,
Словно Нектар олимпийский,
Льете щедрою рукою
Дивный борщ малороссийский.
Это вы при свете лампы,
Словно жрица в тайном действе,
Ловко штопаете дырки,
Неизбежные в семействе.
Жанна д'Арк была святая,
Вы не Жанна. Вы Нанета.
Но простая ваша жертва
Будет некогда воспета.
Потому что в эти годы
Отреченья и изгнанья
Сердцу дороги и милы
Только тихие сиянья.
Потому что и Нанетой
Я зову вас тем смелее,
Что Нанета – это песня,
А от песни–веселее! 1926

ПРОСТЫЕ СЛОВА

Хорошо построить дом
На просторе, на поляне.
Возле дома сад с прудом.
А в пруду карась в сметане.
Да в саду чтоб рос левкой,
Лиловел пожар сирени.
А в душе чтоб был покой.
Да-с. Не боле и не мене!
Утро. Вишни. Белый пух.
Встать. Полить цветы из лейки.
Да чтоб мимо шел пастух
И играл бы на жалейке.
На террасе круглый стол
Серебром блестит кофейным.
Кресло. В кресле слабый пол
В чем-то этаком кисейном…
Сядешь. Крякнешь. Пьешь и ешь.
Прямо мнишь себя младенцем.
Лишь порой лениво плешь
Отираешь полотенцем.
Ну, потом… ползешь в гамак.
Тишина. И дух сосновый.
А читаешь, как-никак,
Приключенья Казановы.

Как прочтешь одну главу,
Да начнешь моргать ресницей,
Книжка падает в траву…
Ветерок шуршит страницей.
Где-то муха прожужжит,
Прогремит вдали телега.
В доме люстра задрожит.
Тишина. Блаженство. Нега.
Встанешь. Бешено зевнешь,
Чуть не вывихнувши челюсть.
Квасу, черти!.. Ну… и пьешь,
Ледяной. С изюмом. Прелесть!..
В общем, дети, несмотря
На неравенство земное,
Хорошо, когда заря
Нежит небо голубое,
Когда с вишен белый пух
Расстилается над садом,
Когда вечером пастух
Возвращается со стадом.
Когда есть просторный дом,
Белый, с крышею зеленой,
А при доме сад с прудом,
В нем карась определенный,
На террасе белый стол,
На столе прибор кофейный,
В мягком кресле слабый пол,
А на поле дым кисейный!.. 1927

БАБЬЕ ЛЕТО
Нет даже слова такого
В толстых чужих словарях.
Август. Ущерб. Увяданье.
Милый, единственный прах.
Русское лето в России.
Запахи пыльной травы.
Небо какой-то старинной,
Темной, густой синевы.
Утро. Пастушья жалейка.
Поздний и горький волчец.
Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец… 1926
«МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ»
Провижу день.
Падут большевики,
Как падают прогнившие стропила.
Окажется, что конные полки
Есть просто историческая сила.
Окажется, что красную звезду

Срывают тем же способом корявым,
Как в девятьсот осьмнадцатом году
Штандарт с короной и орлом двуглавым. 1926

Великолепную рецензию на этот сборник написал Г**еоргий Викторович Адамович** (1892-1972; поэт, литературный критик, переводчик); ее можно отнести и к предыдущему сборнику.

Дон-Аминадо правильно назвал свою новую книгу «сборником лирической сатиры». Действительно, в каждом стихотворении он почти одновременно смеется и плачет.

Автор как будто дразнит читателя – и только тот рассмеется, – как он его оборвет; только размечтается, – как он его рассмешит. И читатель тем послушнее за ним следует, что Дон-Аминадо ему не свои, личные, редкие, единичные чувства навязывает, не пытается подчинить его себе, а смеется общим смехом и общей грустью грустит. На этом отчасти основана популярность его стихов – они по тону своему сразу доступны, в них не надо вчитываться, к ним не надо привыкать, и никакой, даже самый заурядный, самый средний человек не чувствует себя при чтении Дон-Аминадо глупцом и ничтожеством, как в общении с другими поэтами. За это читатель платит Дон-Аминадо любовью и благодарностью.

Стихи Дон-Аминадо веселы или лиричны по самой ткани своей. И можно, не вслушиваясь в слова и смысл, уловить их «окраску» по звуку и тону. Есть какая-то безошибочность в этих стихах, есть упругость, позволяющая им выдерживать без ломки какие угодно переходы голоса и тем. Есть, наконец, при чтении их, сознание безопасности,

Дон-Аминадо именно к Поншену и близок и, как он, способен по любому поводу разбрасывать стихи, в которых все похоже на импровизацию, но на самом деле все проверено и взвешено… Иногда при чтении его стихов становится обидно, что он – как бы это сказать – умаляет себя или «разменивается». По взятой им на себя роли стихотворца-фельетониста он должен постоянно возвращаться к тем же настроениям, тем же образам, тому же тону, и, как я сказал уже, успех Дон-Аминадо отчасти основан на его способности давать общераспространенным чувствам острое и запоминающееся выражение. Но – думается иногда – если бы поэт забыл на минуту о своей аудитории и об обязанности занимать ее – не способен ли он был бы на другие звуки, к которым мы прислушивались бы уже не только с удовольствием, но с радостью и даже волнением. Бывают у Дон-Аминадо моменты такой забывчивости…

Кто-то высказался гораздо короче:

Дон-Аминадо становится бытописателем русской эмиграции. Он сумел объединить все это пестрое в социальном плане население Городка (по Теффи) *на единственно возможной платформе быта.*

Едкий сатирик и задушевный лирик одновременно. Веселый и печальный. Грустный и насмешливый, в своих фельетонах и стихах, он не противопоставлял себя читателям, а объединял с ними.



А.П.Дон-Аминадо

Однако пора перейти к его портрету, характеру, интересам, оценкам творчества …

ПОРТРЕТ

Пожалуй, лучший портрет Дон-Аминадо оставил **Леонид Федорович Зуров** (1902-1971; писатель, мемуарист, хранитель архива Буниных), близко знавший его.

«А был Дон Аминадо тогда молодой, полный решительной, веселой и бодрой уверенности, небольшого роста, с прижатыми ноздрями, жадно вбиравшими воздух, с горячими, все замечающими глазами. Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок. Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное – темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага и колдуна».

Любовь Евгеньевна Белозерская, наблюдавшая его во время совместного перехода из Одессы в Стамбул (1895-1987; литературный секретарь, вторая жена М.А.Булгакова): *«Небольшой, упитанный, средних лет человек с округлыми движениями и миловидным лицом, напоминающим мордочку фокстерьера, поэт Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) вел себя так, будто валюта у него водилась в изобилии и превратности судьбы его не касались и не страшили».*

ХАРАКТЕР

Леонид Федорович Зуров: «*Сила воли, привычка побеждать, завоевывать, уверенность в себе и как бы дерзкий вызов всем и всему – да, он действовал так, словно перед ним не могло быть препятствий. Жизнь он знал необыкновенно – внутри у него была сталь, – он был человеком не только волевым, но и внутренне сосредоточенным. Он любил подлинное творчество и был строгим судьей. В глубине души он был человеком добрым, но при всей доброте – требовательным и строгим. В жизни был целомудренным и мужественным<…>*

Александр Васильевич Бахрах (1902-1985; эссеист, мемуарист)

«Был он человеком весьма изворотливым. Поэзия – поэзией, а наряду с ней распространение нумерованных экземпляров своих книг «толстосумам», устройство творческих вечеров, к участию в которых ему всегда удавалось привлечь русские или французские «звезды» сцены или экрана. А попутно какие- то дела и работа в туристских бюро».

ОТНОШЕНИЯ С БУНИНЫМ **Леонид Федорович Зуров: «…***а он, оживленный, за всем и за всеми весело наблюдающий, был и среди Буниных свой, и с Иваном Алексеевичем, которого и старые литераторы втайне побаивались, чувствовал себя необыкновенно легко. Он знал, как к нему относится не любивший вежливых и уклончивых, ничего не значащих бесед Иван Алексеевич. Он любил бунинскую беспощадную зоркость и острое поэтическое чувство жизни. Он все прощал Бунину и в его присутствии был на редкость остроумен, а Веру Николаевну ласково называл Верочкой. И Иван Алексеевич, который редко долго позволял говорить за столом собеседнику, наслаждался меткостью и острословием Аминада Петровича».*

Из письма И.Бунина: *«…а пока спешу Вам сказать, что это было бы чудесно – воскресить «Сатирикон» <…> Все дело однако в том, есть ли достаточное количество пишущих сотрудников для «Сатирикона», т.е. и остряков и художников. Во всяком же случае попытка не пытка, спрос не беда. Во главе дела, конечно, должны стать Вы – лучше и выдумать нельзя, что же до меня…<…> Вы знаете, дорогой, как я Вас люблю и ценю Ваш ум донельзя…»*

Из записей В.Н.Муромцевой-Буниной: *«Болтаем с милым Шполянским, который неизменно острит»;*

«Аминад зашел и рассказал несколько анекдотов»;

«Был Аминад. Как всегда приятен, умен и полон любви к Яну».

В КРУГУ СЕМЬИ

Леонид Федорович Зуров: «*…и в этом головокружительном, многоплеменном и грязном Париже главное для него была семья, а дома у него, благодаря стараниям и любви Надежды Михайловны, все было безукоризненно – и чистота такая, что ей мог позавидовать капитан любого военного корабля. На стенах висели картины, подаренные художниками, и фотографии с дарственными надписями Бунина, Шаляпина, Милюкова, Балиева, балерины Аржантины, Саши Черного, Куприна.*

Семья для Аминада Петровича была святилищем. Для нее он работал не щадя сил. По-ветхозаветному, семья была для него святая святых – он любил ее, оберегал ее от бурь житейских, а в воспитание дочери вложил всю свою душу и, отказывая себе и Надежде Михайловне во многом, все сделал для того, чтобы у Леночки было радостное и счастливое детство».

Александр Васильевич Бахрах (эссеист, мемуарист**):** *«…ежедневные фельетоны подкармливают их автора, тогда как «святое ремесло» <…> в условиях, в которых жил Аминадо, может быть, сулило ему лавры, но едва ли позволило бы с успехом ходить на базар. А надо признать, что Аминадо, будучи ревностным семьянином, не был равнодушен и к так*

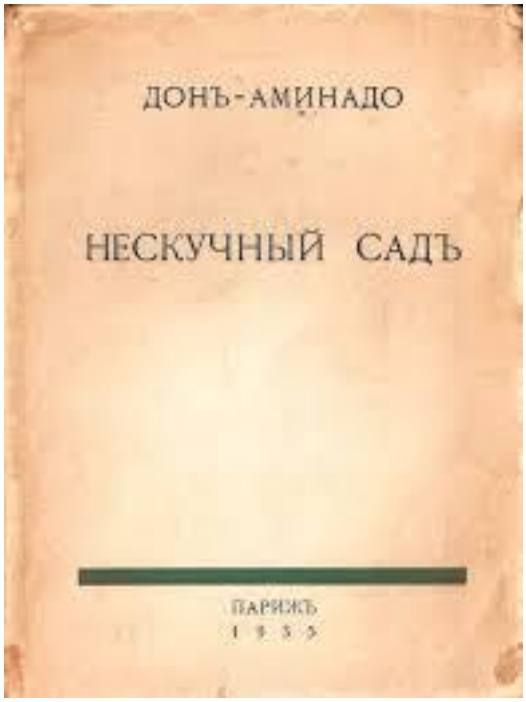
называемым «благам жизни». Он любил вкусно пообедать, понимал в еде толк, не без изыска обставил свою квартиру и домик, приобретенный им в окрестностях Парижа».

Ирина Владимировна Одоевцева (1895-1990; поэтесса, прозаик): *«…он горестно вздохнул:*

– Настроение собачье, самоубийственное. Пошел к Буниным, а они к вам собрались, я и увязался за ними. Моей дочке Леночке вырезали гланды. Моя жена вместе с Леночкой будет ночевать в клинике. Дома никого. А я не выношу одиночества. Не выношу… – И он, молитвенно сложив руки, почти пропел: – Не гоните меня! <…>

– Вот вы все не верите. Мне действительно очень тяжело и грустно. Мне всегда грустно и страшно одному. Меня сейчас же начинают грызть всякие страхи и предчувствия. Ведь хоть и легкая, а все-таки операция. Мало ли что может случиться? Да и вообще, мало ли что может случиться? Я, как муха в безвоздушном пространстве, в одиночестве лопаюсь от тоски. <…>





А.Головин. «Нескучный сад», 1910-е

*ИЗ СБОРНИКА **«НЕСКУЧНЫЙ САД»***, 1935г.

АФОРИЗМЫ
Из раздела «Новый Козьма Прутков»
Цитаты не только выражают чужую мысль, но и прикрывают наготу собственной.
Сплетня – это плата за гостеприимство.
Глаза – это инициалы души.
Предков вешают на стене, а современников – где попало
Писатели делятся на известных, безвестных и пропавших без вести.
У каждой эпохи есть своя акустика.
На свете очень много хороших людей, но все они страшно заняты…
Протягивая руку помощи, не сжимайте ее в кулак.
Не думай дурно о всех ближних сразу, думай по очереди.
Ничто так не мешает видеть, как точка зрения.
Мужчины лгут просто, женщины – со слезами на глазах.
Декольте – это только часть истины.
У чужих жен мигрени не бывает.
В любви есть три знака препинания: восклицательный, многоточие и точка.
В каждой женщине есть дамское и женское. Женское – совершает подвиги, дамское – болтает по телефону.
Брак по расчету – это либретто музыки.
Относитесь к собственной жене так, как будто она не ваша, а чужая.
Верх неудобства – это когда в душе еще романтизм, а в ноге уже ревматизм.
«Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным».
Сначала народ безмолвствует, потом становится под знамена, потом в очередь, потом – опять под знамена, и потом снова безмолвствует.

В конце концов, вся переоценка ценностей только к тому и сводится, что к переименованию улиц.

Как бы твое положение ни было худо, утешайся тем, что международное положение еще хуже.

ТРУДЫ и ДНИ
Вышли в свет воспоминанья:
«Четверть века прозябанья».

Ищут вежливых старушек
Для различных побегушек.

Имею восемь паспортов,
На все готов.

Холостяк былой закваски
Жаждет ласки…

«Жорж, прощай. Ушла к Володе!..
Ключ и паспорт на комоде».

ПАНОПТИКУМ
Темные горы сосисок.
Страшные горы капуст.
Звуки военного марша.
Медленный челюсти хруст.
Ярко палящее солнце.
Бой нюренбергских часов.
Ромбы немецких затылков.
Циркуль немецких усов.
Роты. Полки. Батальоны.
Ружья. Лопаты. Кресты.
Шаг, сотрясающий недра,
Рвущий земные пласты.
Ярмарка. Бред Каллигари.
Старый, готический сон.



И.Босх «Страшный суд», фрагмент

Запахи крови и гари.

Золото черных знамен.
Рвет и безумствует ветер.
С Фаустом Геббельс идет.
В бархатном, черном берете
Вагнер им знак подает.
Грянули бешеным хором
Многих наук доктора.
Немки с невидящим взором
Падали с криком «ура!». .
Кукла из желтого воска,
С крепом на верхней губе,
Шла и вела их навстречу
Страшной и странной судьбе.
1934

Бьют барабаны, играет труба,
В ногу с солдатом шагает Судьба.
В небе штандарт переливом горит,
Фюрер с балкона слова говорит.
Немцы становятся все на носки.
Немки кидают ему васильки.
Пенится пиво в тяжелых ковшах.
Марши звучат в музыкальных ушах.
Матери спешно рожают детей.
Дети нужны для великих затей.
Каждый ребенок вольет ручеек

В общий великий германский поток.
Бурный поток обратится в потоп!
Так говорит господин Риббентроп.
Бледный, помешанный, бешеный, злой.
С пеной запекшейся, с черной слюной,
Геббельс, последний презренный Терсит,
Бьется в падучей и в крик голосит.
Вздутый и темный, отъявленный плут,
Геринг шагает, сей будущий Брут,
Весь в сладострастной и пьяной тоске,
Холод кинжала почуял в руке.
Реют знамена и плошки чадят.
Сверху, из окон, кухарки глядят.
В лаврах на локонах, с лирой в руках,
Плавает Шиллер в своих облаках.
Гёте глядит с Олимпийских вершин.
Немцы стоят, проглотивши аршин.
Бьют барабаны, играет труба.
В ногу с солдатом шагает Судьба.

«СВЯЩЕННАЯ ВЕСНА»
Была весна.
От Волги до Амура
Вскрывались льды…
Звенела песнь грача.
Какая-то восторженная дура
Лепила бюст супруги Ильича.
И было так приятно от сознанья,
Что мир земной не брошен и не пуст,
Что если в нем имелися зиянья,
То их заткнет, заполнит этот бюст.
Как хорошо, что именно весною,
Когда едва зазеленеет лист,
Когда к земле, к земному перегною
Из городов стремится пантеист.
И в небеса, в лазурное пространство
Уходит дым, зигзагами струясь,
И всей Руси беднейшее крестьянство
На тракторы садится, веселясь.
Как хорошо, что в творческом припадке
Под действием весеннего луча
Пришло на ум какой-то психопатке
Изобразить супругу Ильича.
Ах, в этом есть языческое что-то!
Кругом поля и тракторы древлян,
И на путях, как столб у поворота,
Стоит большой и страшный истукан,
И смотрит в даль пронзительной лазури
На черную под паром целину…

А бандурист играет на бандуре
Стравинского «Священную Весну». 1932

КАК РАССКАЗАТЬ…
Как рассказать им чувство это,
Как объяснить в простых словах
Тревогу зимнего рассвета
На петербургских островах,
Когда, замучившись, несется
Шальная тройка поутру,
Когда, отстегнутая, бьется
Медвежья полость на ветру,
И пахнет влагой, хвоей, зверем…
И за верстой верста бежит.
А мы, глупцы, орем и верим.
Что мир лишь нам принадлежит.
1929—1935

ПРИЗНАНИЯ
Мы были молоды.
И жадны. И в гордыне
Нам тесен был и мир, и тротуар.
Мы шли по улице, по самой середине,
Испытывая радость и угар—
От звуков музыки, от солнца, от сиянья,
От жаворонков, певших в облаках,
От пьяной нежности, от сладкого сознанья,
Что нам дано бессмертие в веках…
Мы были молоды. Мы пели. Мы орали.
И в некий миг, в блаженном забытьи,
В беднягу пристава то ландыши швыряли,
То синие околыши свои.
Звенела музыка, дрожала мостовая…
Пылал закат. Изнемогавший день
Склонялся к западу, со страстию вдыхая
Прохладную лиловую сирень.
Мы были смелыми. Решительными были.
На приступ шли и брали города.
Мы были молоды. И девушек любили.
И девушки нам верили тогда…
Клубились сумерки над черною рекою.
Захлопывалось темное окно.
А мы все гладили прилежною рукою
Заветное родимое пятно.
Мы поздно поняли, пропевши от усердья
Все множество всех песен боевых,
Что нет ни пристава, ни счастья, ни бессмертья…
Лишь ландыши, и то уж для других. 1934

ДЫМ
Помнишь дом на зеленой горке,
В четырех верстах от станции?
Помнишь запах рябины горький,
Которого нет во Франции…
Помнишь, как взлетали качели
Над садом, над полем скошенным,
И песню, которую пели
Девушки в платьях в горошину.
Помнишь, как мы дразнили эхо,
И в строгом лесу березовом
Сколько, Господи, было смеха,
Сколько девушек в белом, в розовом!
А когда темно-синий вечер
Над земными вставал покоями,
Помнишь, как зажигали свечи
В гостиной с голубыми обоями,
Где стояли важные кресла
И турецкий диван с узорами,
И где было так чудесно
Упиваться «Тремя мушкетерами»…
1928, 1935

УЕЗДНАЯ ВЕСНА
Пасха. Платьице в горошину,

Легкость. Дымность. Кисея.

Допотопная провинция.

Клёны. Тополи. Скамья.
Брюки серые со штрипками.

Шею сдавливает кант.

А в глазах мелькает розовый

Колыхающийся бант.
Ах, пускай уж были сказаны

Эти старые слова.

Каждый год наружу новая

Пробивается трава.
Каждый год из неба синего

Нестерпимый льётся свет.

Каждый год душе загадывать,

Слышать сладостный ответ.
Для чего же в мире тополи,

Гул морей и говор птиц,

Блеск очей, всегда единственных,

Из-под ласковых ресниц?
Для чего земля чудесная

Расцветает каждый год,

Наполняя сердце нежностью,

Наполняя соком плод?
Для того, чтоб в милом городе,

На классической скамье,

Целый мир предстал в пленительной,

В этой белой кисее,
В лёгком платьице в горошину,

В клёнах, в зелени, в дыму,

В том, что снилось сердцу каждому,

Моему и твоему!

НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ (На даче)
Напои меня малиной,

Крепким ромом, цветом липы.

И пускай в трубе каминной

Раздаются вопли, всхлипы…

Пусть как в лучших сочиненьях

С плачем, хохотом, раскатом

Завывает все, что надо,

Что положено по штатам.

Пусть скрипят и гнутся сосны,

Вязы, тополи и буки.

И пускай из клавикордов

Чьи-то медленные руки

Извлекают старых вальсов

Мелодические вздохи,

Обреченные забвенью,

Несозвучные эпохе!..

Напои меня кипучей

Лавой пунша или грога

И достань, откуда хочешь,

Поразительного дога.

И чтоб он сверкал глазами,

Словно парой аметистов,

И чтоб он сопел, мерзавец,

Как у лучших беллетристов.

А сама в старинной шали

С бахромою и кистями,

Перелистывая книгу

С пожелтевшими листами,

Выбирай мне из "Айвенго"

Только лучшие страницы

И читай их очень тихо,

Опустивши вниз ресницы.

Потому что человеку

Надо, в сущности, ведь мало.

Чтоб у ног его собака

Выразительно дремала,

Чтоб его поили грогом

До семнадцатого пота

И играли на роялях,

И читали Вальтер Скотта.

И под шум ночного ливня,

Чтоб ему приснилось снова

Из какой-то прежней жизни

Хоть одно живое слово.
1929-1935

Фрагменты рецензий:

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945; поэтесса, прозаик, драматург, литературный критик):

Он оказался нужным, т.е. вот эта его сторона, злободневный юмор, или нотка сентиментальности, отвечающая настроениям, блестящее, порою, остроумие, при способности к стихосложению удивительной. В стихах его чувствуется даже мастерство, что, пожалуй, уже роскошь, которую не все оценят. Способность же слагать стихи легко и быстро дала ему возможность исполнять внешние условия задачи, – писать постоянно, писать каждый день. Чутко понял стихотворец и внутренние условия этой принятой на себя задачи: его юмор нигде не переходит в сатиру; он осторожен и никого не ранит. Как далек он от длинных, тяжеловесных, часто неуклюжих, но сильных обличений Некрасова, или от гоголевского: «горьким смехом моим посмеются»!

Георгий Викторович Адамович: *"Напрасно – замечу мимоходом – Дон-Аминадо скромничает и притворяется учеником Пруткова. Тот не писал так. У Козьмы Пруткова было не только меньше словесной находчивости, но и самый юмор его был площе, грубее, без щемяще-печального отзвука той "суеты сует", которая одна только и облагораживает смех. Дон-Аминадо прикидывается весельчаком и под шумок протаскивает такую тоску, такое сердечное опустошение, такое отчаяние, что нетронутым в мире не остается почти ничего".*

ТВОРЧЕСТВО

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953; писатель, поэт): *«Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту – художественному, а не только газетному, злободневному».*

Зинаида Алексеевна Шаховская (1906-2001; писатель, поэтесса):

«Он был удивительно талантлив, умен и остер. Десятилетия прошли – и, не в пример другим юмористам эмиграции, Аминадо никак не устарел. Думается, потому что даже когда он писал об эмиграции, Дон-Аминадо как-то естественно выходил из узкой эпохи и за эмигрантским фольклором различал нечто более обширное. Как и Тэффи, Аминад Петрович совсем не легкомысленно смотрел на жизнь, он знал ее трагичность, ее сложность, был человек беспокойный, переживал события очень тяжело».

Максим Горький (1868-1936; писатель, драматург): *«Д. Аминадо является одним из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства…»*;

«человек неглупый, зоркий и даже способный чувствовать свое и окружающих негодяйство».

«Мне кажется, что гораздо более искренно и верно отражает подлинное лицо эмиграции развеселый негодяй Дон-Аминадо…».

Зинаида Николаевна Гиппиус: *«Эмиграция привыкла за 15 лет встречать, развертывая газету, его остроумные стихотворные строки; и не напрасно считает, что он, как юморист, незаменим. <…>*

Это лишь моя догадка, что он не вмещается в то, что сейчас делает. <…>

Отсюда ведь и «грусть-тоска», слишком понятная». <…>

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941; поэт, прозаик):

«Милый Дон-Аминадо. Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт и куда больше – поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем их серьезе».

Александр Васильевич Бахрах: *«Но, как бы то ни было, надо признать, что фельетоны Аминадо были украшением газеты, в которой он в течение долгих лет сотрудничал, радостью ее читателей, уставших от разжевывания политической «мудрости». Его юмористические или, пожалуй, точнее – сатирические фельетоны били «не в бровь, а в глаз», но при этом, были всегда тактичны. Он способен был уколоть, но не мог ранить и никогда не переходил известных границ. Он чаще улыбался, чем смеялся и уж никогда не «гоготал».*

Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак, 1902-1994; прозаик, редактор, журналист):

«В нем сатирик всегда был сильнее юмориста. Он не только смеялся, но и высмеивал, и высмеивал, подчас, жестоко. Темы свои он черпал из "нашей маленькой жизни".

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Александр Васильевич Бахрах: *«Когда я пытаюсь восстановить в памяти облик наиболее популярного из юмористов зарубежья, Дона-Аминадо, то перед моими глазами невольно воскресает одна сценка. Как-то я зашел к нему в неурочный час по какому-то «спешному» делу (какие дела не кажутся «спешными»!). Он сидел перед своим письменным*

столом с самопишущим пером в руке, а перед ним лежал ворох черновиков, частично скомканных. Голова его была обмотана мокрым полотенцем. Не переставая чертыхаться, он глотал какие-то аспирины. «Уже начинает темнеть и вот-вот надо мчаться в редакцию сдавать очередной фельетон, а в голову не лезут ни мысли, ни рифмы… И так каждый день… Вы, небось, думаете, что смешить читателей моими побасенками – дело ерундовое: насобачился, мол, и все само собой по щучьему велению выливается на бумагу, хоть посылай сразу в набор….

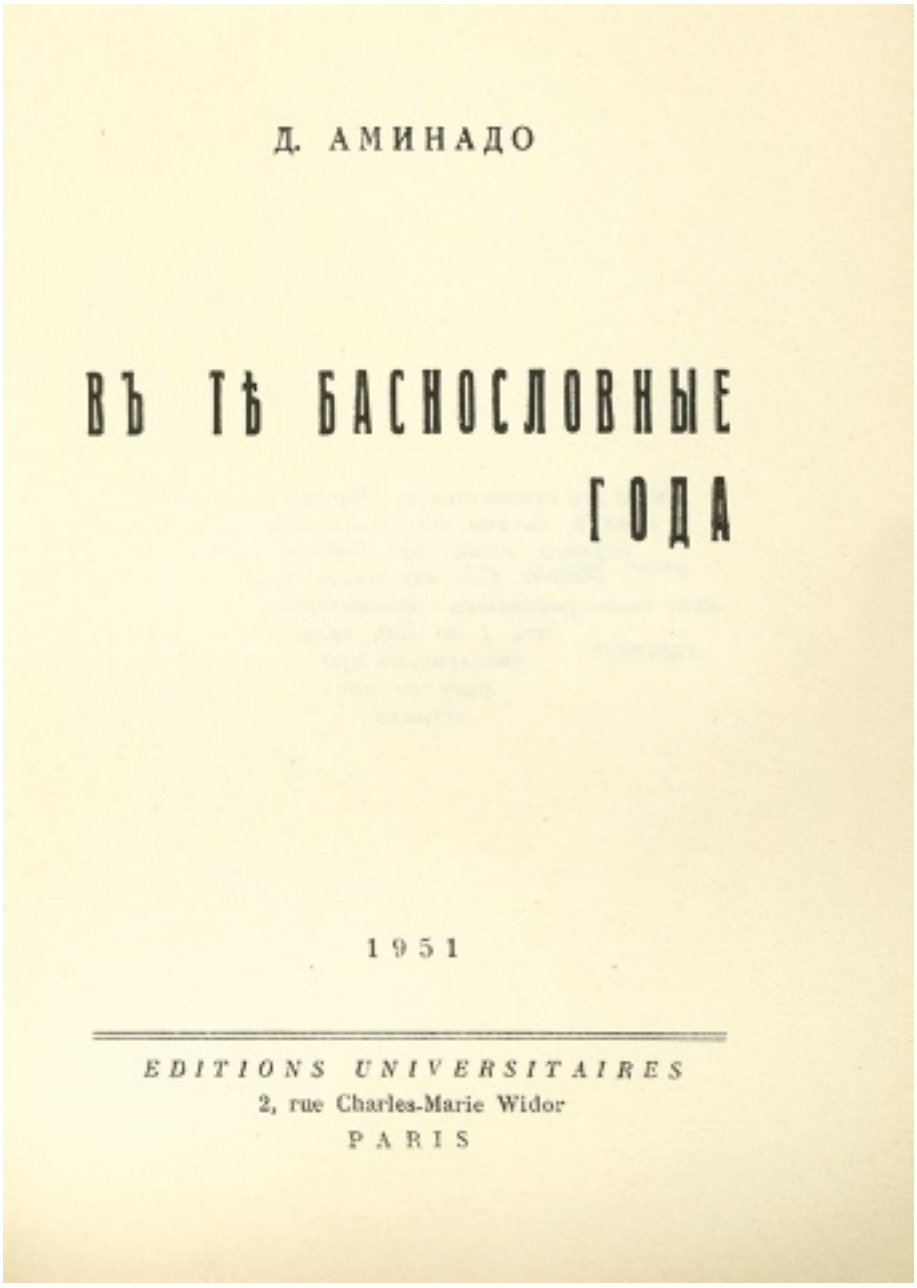
Нет, я отнюдь так не думал».

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Леонид Федорович Зуров: «*Он встречал людей всех званий и сословий, был своим среди художников и артистов, у него была всеэмигрантская известность, исключительная популярность. В Париже все знали Дон Аминадо. Без преувеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен. Ведь его читали не только русские парижане, у него были верные поклонники – в Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии, Польше, Литве. Он сотрудничал в либеральной газете*[3]*, но в числе его поклонников были все русские шоферы, входившие во всевозможные полковые объединения и воинский союз. Его стихи вырезали из газет, знали наизусть, повторяли его крылатые словечки. И многие, я знаю, начинали газету читать с злободневных стихов Дон Аминадо».*

Александр Васильевич Бахрах. *«Чужой печали, верьте, верьте! /Непрочно пламя в хрупком теле, / Ведь только после нашей смерти /Нас любят так, как мы хотели».*

Его самого, однако, любили при жизни, но, может быть, любили в нем не то, что надлежало любить, и наверное не так, как он того хотел».


Д. АМИНАДО
ВЪ ТѢ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА
1951
EDITIONS UNIVERSITAIRES
2, rue Charles-Marie Widor
PARIS



Имярек: *«эмигрантский народ знал его куда лучше, чем Цветаеву или Ходасевича!», В.Первунинский. Чаепитие в сиреневом саду*

ИЗ СБОРНИКА ***«В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА».*** 1951.

AMO-AMARE
Довольно описывать северный снег
И петь петербургскую вьюгу…
Пора возвратиться к источнику нег,
К навеки блаженному югу.
Там молодость первая буйно прошла
Звеня, как цыганка запястьем.
И первые слезы любовь пролила
Над быстро изведанным счастьем.
Кипит, не смолкая, работа в порту.
Скрипят корабельные цепи.
Безумные ласточки, взяв высоту,
Летят в молдаванские степи.
Играет шарманка. Цыганка поет,
Очей расточая сиянье.
А город лиловый сиренью цветет,
Как в первые дни мирозданья.
Забыть ли весну голубую твою,
Бегущие к морю ступени
И Дюка, который поставил скамью

Под куст этой самой сирени?..
Забыть ли счастливейших дней ореол,
Когда мы спрягали в угаре
Единственный в мире латинский глагол –
Amare, amare, amare?!
И боги нам сами сплетали венец,
И звезды светили нам ярко,
И пел о любви итальянский певец,
Которого звали Самарко. …
Приходит волна, и уходит волна.
А сердце все медленней бьется.
И чует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернется.
Что ветер, который пришел из пустынь,
Сердца приучая к смиренью,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью. 1930-е

БИОГРАФИЯ
Жил такой, никому не известный
И ничем не прославивший век,
Но убийственно-скромный и честный
И милейшей души человек.
Веря в разум и смысл мирозданья,
Он сиял этой верой с утра
И кормился от древа познанья
Лишь одними плодами добра.
Состязаясь с змеей сладострастной,
Он, конечно, немало страдал,
Но зато, просветленный и ясный,
Все во сне херувимов видал.
Ограничив единой любовью
Неизбежные сумерки дней,
Он боролся с проклятою кровью,
С человеческой плотью своей.
И напрасно в бреду неотвязном,
В красоте естества своего,
Соблазняли великим соблазном
Многогрешные жены его.
Он устоев своих не нарушил,
Он запретных плодов не вкушал.
Все домашнее радио слушал,
Простоквашею дух оглушал.
И, когда задыхаясь от жажды
И вздохнувши испуганно вслух,
Испустил он, бедняга, однажды
Этот самый замотанный дух,
И, взбежав по надзвездным откосам,
Очутился в лазоревой мгле

И пристал к херувимам с вопросом
– Как он прожил свой век на земле?..
В небесах фимиамы и дымы
В благовонный сгустилися мрак,
И запели в ответ херувимы:
– Как дурак! Как дурак! Как дурак!
1934

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Жили. Были.
Ели. Пили.
Воду в ступе толокли.
Вкруг да около ходили,
Мимо главного прошли. 1938
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В смысле дали мировой
Власть идей непобедима:
От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой. 1951

СТИХИ, НЕ ВОЩЕДШИЕ В СБОРНИКИ

ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН
Тут—мужик, а мы – о грации.
Тут—навоз, а мы – в тимпан!..
Так от мелодекламации
Погибают даже нации,
Как лопух и как бурьян. 1920

ПОКАЯНИЕ
Признаю. Обещаю. Клянуся.
Никакая отныне Маруся,
Никакой океан и приливы,
Никакие морские отливы,
И ни плечи, что гипса белее,
И ни губы, что вишен алее,
И ни взор, что острее рапиры,–
Не смутят арендованной лиры!..1920

МОНПАРНАС
Тонула земля в электрическом свете.

Толпа отливала и шла, как лавина.

Худая блондинка в зелёном берете

Искала глазами худого блондина.

Какие-то шведы сидели и пили

Какие-то страшные шведские гроги.

Какие-то девушки нервно бродили,

Цепляясь за длинные шведские ноги.

Какие-то люди особой породы

В нечёсаных космах, и все пожилые,

Часами коптили высокие своды

И сыпали пепел в стаканы пивные.

Непризнанный гений попыхивал трубкой

И всё улыбался улыбкою хамской.

И жадно следил за какою-то хрупкой,

Какою-то жёлтой богиней сиамской

Поэты, бродяги, восточные принцы

В чалмах и тюрбанах, с осанкою гордой,

Какие-то типы, полуаргентинцы,

Полусутенёры с оливковой мордой.

И весь этот пёстрый, чужой муравейник

Сосал своё кофе, гудел, наслаждался.

И только гарсон, приносивший кофейник,

Какой-то улыбкой кривой улыбался -

Затем, что отведавши всех философий,

Давно не считал для себя он проблемой

Ни то, что они принимали за кофий,

Ни то, что они называли богемой.

ВЕСЕННИЙ БАЛ
1 Если вам семнадцать лет,
Если вас зовут Наташа,
То сомнений больше нет, –
Каждый бал стихия ваша!
Легкий, бальный туалет
Освежит портниха Маша,
Ослепительный букет
Вам предложит ваш предмет,
Задыхающийся Яша,
Или, если Яши нет,
То Володя или Саша…
Пенье скрипок!
Розы! Свет!
Первый бал в семнадцать лет—
Это лучший бал, Наташа!

2 Если вам до тридцати



Не хватает только года,
Вы обязаны пойти!
В тридцать лет сама природа
Говорит душе: цвети!..
Тридцать лет есть полпути,

Силы требуют исхода,
Сердцу хочется цвести,
Сердцу меньше тридцати –
И ему нужна свобода.
Призрак осени у входа.
Все пойми – и все прости!
Крылья выросли—лети! …
Вы должны, должны пойти,
Если вам до тридцати
Не хватает только года!..

3 Если ж вам до сорока
Только месяц остается,
Все равно!..
Бурлит, несется
Многоводная река.
Дымны, странны облака,
Горе тем, кто обернется!
Надо жить и плыть, пока…
Надо жить, пока живется.
Сердцу мало остается.
В сердце – нежность и тоска,
Но оно сильнее бьется.
Юность смотрит свысока,
Зрелость – взглядом игрока:
Проиграешь, не вернется!
Значит, что же остается
У преддверья сорока?
Жить и жить.
Пока живется…

4 Если ж вам за пятьдесят,
Знайте, жизни добрый Гений
Может долго длить закат,
Бодрых духом поколений!
Тяжек, сочен плод осенний.
Вечер есть пора свершений.
В седине есть аромат
Поздних, сладостных цветений
В наслоении декад –
Простота проникновений.
Пусть горит, горит закат
Все безумней, все блаженней…
Всех, кому за пятьдесят,
Я зову на Бал Весенний!.. 1927

ХРЕСТОМАТИЯ ЛЮБВИ
ЛЮБОВЬ НЕМЕЦКАЯ
Домик. Садик.

По карнизу
Золотой струился свет.
Я спросил свою Луизу: –
Да, Луиза? Или нет?
И бледнея от сюрприза,
И краснея от стыда,
Тихим голосом Луиза
Мне ответствовала: да!.
ЛЮБОВЬ АМЕРИКАНСКАЯ
«– Дзынь!..– Алло!
– У телефона
Фирма Джемса Честертона.
Кто со мною говорит?
– Дочь владельца фирмы Смит.
—Вы согласны?
—Я согласна.
– Фирма тоже?
—Да.
– Прекрасно.
– Значит, рок?
—Должно быть, рок.
– Час венчанья?
—Фаифокпок.
– Кто свидетели венчанья?
– Блек и Вилькинс.
– До свиданья».
И кивнули в телефон
Оба, Смит и Честертон.

ЛЮБОВЬ ИСПАНСКАЯ
Сладок дух магнолий томных,
Тонет в звездах небосклон,
Я найму убийц наемных,
Потому что… я влюблен!
И когда на циферблате
Полночь медленно пробьет,
Я вонжу до рукояти
Свой кинжал ему в живот.
И, по воле Провиденья
Быстро сделавшись вдовой,
Ты услышишь звуки пенья,
Звон гитар во тьме ночной.
Это будет знак условный,
Ты придешь на рокот струн.
И заржет мой чистокровный,
Мой породистый скакун.
И под звуки серенады,
При таинственной луне,
Мы умчимся из Гренады

На арабском скакуне!..
Но чтоб все проделать это,
Не хватает пустяка… –
Выйди замуж, о, Нинета,
Поскорей за старика!..

РУССКАЯ ЛЮБОВЬ

Позвольте мне погладить вашу руку.
Я испытываю, Маша, муку.
Удивительная все-таки жизнь наша.
Какие у вас теплые руки, Маша.
Вот надвигается, кажется, тучка.
Замечательная у вас, Маша, ручка.
А у меня, знаете, не рука, а ручище.
Через двести лет жизнь будет чище.
Интересно, как тогда будет житься,
Вы хотели бы, Маша, не родиться?
Не могу больше, Маша, страдать я.
Дайте мне вашу руку для рукопожатья.
Хорошо бы жить лет через двести.
Давайте, Маша, утопимся вместе!.. 1927

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

На протяженъи многих лет,
В кровавом отблеске пожаров,
Впервые со страниц газет
Мелькнуло слово прежних лет:
Совет народных комиссаров
Был назван—русский кабинет!..
Не знаю, радость иль смущенье,
Но что-то странное в уме
Сменило вдруг оцепененье,
Как будто свет в кромешной тьме
Зажжен на краткое мгновенье,
Блеснул обманчивым огнем,
Как призрак гибельный и милый,
И в изумленiи на нем
Остановился взор унылый.
Так иногда случалось вам
Услышать в странном сочетанье
Из уст достопочтенных дам
Вдруг о потерянном созданье
Столь неожиданный рассказ,
Что он невольно тронет вас: –
Вы знали падшую блондинку,
Дуняшку с Невского?..
Так вот,
Какой, представьте, поворот!
Купила швейную машинку,
Строчит, и штопает, и шьет,

И, перст судьбы и верх каприза,
Выходит замуж, чтобы стать
Женой чиновника акциза,
Почти матроной, так сказать…
И пусть в моральные заслуги
Такой Дуняши, господа,
Поверить трудно иногда,
Но это звание супруги,
Швеи и женщины труда –
Такую власть приобретает
Над нашей робкою душой,
Что, подавив сомнений рой,
Мы говорим:
«Ну, что ж… бывает!..»
И хоть качаем головой,
Но все ж не можем тем не мене
К такой чудесной перемене
Не отнестися с похвалой… …
О, сила слов!
О, тайна звуков!
Пройдут года, и, может быть,
Невероятных наших внуков
Нельзя уж будет убедить
В такой простой и явной вещи,
Какой является для всех
Дуняшки падшей и зловещей
Происхожденье и успех…
Калинин, сторож огородный,
Крыленко, сверх-Юстиниан,
Буденный, унтер всенародный,
И, красноречия фонтан,
Зиновьев бурный, многоводный,
И, «счастья баловень безродный»,
Какой-то смутный Микоян,
Бухарин, жуткая кликуша,
И Сталин, пастырь волчьих стай,
И оплывающая туша
Веселой дамы Коллонтай,
Матрос Дыбенко, мудрый Стучка,
Стеклов, святой анахорет,
И Луначарский – Мусагет, –
И эта, мягко скажем, кучка…
Зовется, – русский кабинет!..
Как, онемев сперва как рыба,
Не молвить, Господи спаси,
И заграничное спасибо,
И древнерусское мерси?!.. 1927

А.А. АЛЕХИНУ

Свет с Востока, занимайся,
Разгорайся много крат,
«Гром победы, раздавайся»,
Раздавайся, русский мат!..
В самом лучшем смысле слова,
В смысле шахматной игры…
От конца и до другого
Опрокидывай миры!
По беспроволочной сети
Всяких кабелей морских
Поздравленья шлите, дети,
В выражениях простых!..
Рвите кабель, рвите даму,
Телеграфную мамзель,
Сердце, душу, телеграмму,
Не задумываясь, прямо –
Шлите прямо в Грандотель.
Буэнос.
Отель.
Алеше.
Очень срочно.
Восемь слов.
«Бьем от радости в ладоши,
Без различия полов».
А потом вторую шлите
За себя и за семью:
«Ах, Алеша, берегите
И здоровье, и ладью!»
Третью, пятую, шестую
Жарьте прямо напролет:
«Обнимаю и целую
Шах и мат, и патриот».
Главным образом вносите
В текст побольше простоты,
Вообще переходите
Все с Алехиным на ты!
«Гой еси ты, русский сокол,
В Буэносе и в Айре!
Вот спасибо, что нацокал
Капабланке по туре!..
Десять лет судьба стояла
К нам обратной стороной,
Той, что, мягко выражаясь,
Называется спиной».
И во тьму десятилетья
Ты пришел и стал блистать!
Так возможно ль междометья,
Восклицанья удержать?!
Стань, чтоб мог к груди прижаться

Замечательный твой миф,
Заключить тебя в объятья,
Невзирая на тариф!..
Все мы пешки, пешеходы,
Ты ж орел – и в облаках!
Как же нам чрез многи воды,
Несмотря на все расходы,
Не воскликнуть наше – ах!.. 1927

ЛЮБОВЬ ПО ЭПОХАМ.
Наша жизнь подобна буре,
Все смешалось в вихре адском.
Мы сошлися при Петлюре,
Разошлись при Скоропадском.
Но, ревниво помня даты
Роковой любовной страсти,
Мы ли, друг мой, виноваты
В этих быстрых сменах власти? 1928

ЛЕТНИЕ РАССКАЗЫ
Не в Ла-Манш, не в Пиренеи,
Не на разные Монбланы,
Не под пальмовые рощи,
Не в диковинные страны…
Я уехал бы на Клязьму,
Где стоял наш дом с террaской,
С деревянным мезонином,
С облупившеюся краской,
С занавесками на окнах,
С фотографиями в рамах,
Со скамейкой перед домом
В почерневших монограммах,
С этой гревшейся на солнце,
Сладко щурившейся кошкой,
Со спускавшеюся к речке
Лентой вившейся дорожкой,
Где росли кусты рябины,
Волчья ягода чернела,
Где блистательная юность
Отцвела и отшумела!..
Как летела наша лодка
Вниз по быстрому теченью,
Как душа внимала жадно
Смеху, музыке и пенью,
Плеску рыбы, взлету птицы,
Небесам, и душным травам,
И очам твоим правдивым,
И словам твоим лукавым…
А когда садилось солнце

За купальнями Грачевых,
И молодки, все вразвалку,
В сарафанах кумачовых
Выходили на дорогу
С шуткой, с песней хоровою,
А с реки тянуло тиной,
Сладкой сыростью речною,
А в саду дышали липы,
А из дома с мезонином
Этот вальс звучал столетний
На столетнем пианино,
Помнишь, как в минуты эти
В этом мире неизвестном
Нам казалось все прекрасным,
Нам казалось все чудесным!
Богом созданным для счастья,
Не могущим быть иначе,
Словно Счастье поселилось
Рядом, тут, на этой даче,
В этом домике с террaской,
С фотографиями в рамах,
И сидит, и встать не хочет
Со скамейки в монограммах… 1928

ЗЕМНОЕ
1 Осень пахнет горьким тленом,
Милым прахом увяданья,
Легким запахом мимозы
В час последнего свиданья.
А еще—сладчайшим медом,
Душной мятой, паутиной
И осыпавшейся розой
Над неубранной куртиной.
2 Зимний полдень пахнет снегом,
Мерзлым яблоком, деревней
И мужицкою овчиной,
Пропотевшею и древней.
Зимний вечер пахнет ромом,
Крепким чаем, теплым паром,
Табаком, и гиацинтом,
И каминным перегаром.
3 Утро солнечного мая
Пахнет ландышем душистым
И, как ты, моя Наташа,
Чем-то легким, чем-то чистым,
Этой травкою зеленой,
Что растет в глухом овраге,
Этой смутною фиалкой,

Этой капелькою влаги,
Что дрожит в лиловой дымке
На краю цветочной чаши,
Как дрожат порою слезы
На ресницах у Наташи…
4 Лето пахнет душистым сеном,
Сливой темною и пыльной,
Бледной лилией болотной,
Тонкостанной и бессильной,
Испареньями земными,
Тмином, маком, прелью сада
И вином, что только бродит
В сочных гроздьях винограда.
А еще в горячий полдень
Лето пахнет лесом, смолью
И щекочущей и влажной
Голубой морскою солью,
Мшистой сыростью купальни,
Острым запахом иода
И волнующей и дальней
Дымной гарью парохода…
1928

ЧЕТЫРЕ ПОДХОДА
К РУССКОЙ
Сначала надо говорить о Толстом,
О живописи, об искусстве,
О чувстве, как таковом,
И о таковом, как чувстве.
Потом надо слегка вздохнуть
И, не говоря ни слова,
Только пальцем в небо ткнуть
И… вздохнуть снова.
Потом надо долго мять в руках
Не повинную ни в чем шляпу,
Пока Она, по-женски, не скажет: Ах!
И, по-мужски, пожмет вам лапу.
К НЕМКЕ
Немку надо глазами есть,
Круглыми и большими.
Ни с каким Толстым никуда не лезть,
А танцевать шимми.
Танцевать час. Полтора. Два.
Мучиться, но крепиться.
Пока немецкая ее голова
Не начнет кружиться.
И глядь, – веревка ль, нитка ль, нить, –
Незаметно сердца свяжет.
И не надо ей ничего говорить…

Она сама все скажет.
К ДОЧЕРИ АЛЬБИОНА
Для англичанки все нипочем,
И один есть путь к победе:
Все время кидать в нее мячом
И все время орать: рэди!
Потом, непосредственно от мяча,
С неслыханной простотою,
Так прямо и рубить сплеча: –
Будьте моей женою!
И если она за это не даст
Ракеткой по голове вам,
Значит, она либо любит вас,
Либо… остолбенела.
К ФРАНЦУЖЕНКЕ
Французский женский нрав таков,
Что, отбросив в сторону шутки,
С дамой надо без дураков
Говорить об ее желудке.
Они не любят этих ши-ши,
И хотя души в них немало,
Но если прямо начать с души,
Тогда просто пиши – пропало!.. 1928

ОДА НА УХОД А.В. ЛУНАЧАРСКОГО
Разбита цепь невежества и мрака…
Теперь в избе любого мужика
Читают утром Бобу Пастернака,
А вечером читают Пильняка! 1929

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ
Был месяц май, и птицы пели,
И за ночь выпала роса…
И так пронзительно синели,
Сияли счастьем небеса,
И столько нежности нездешней
Тогда на землю пролилось,
Наполнив соком, влагой вешней,
И пропитав ее насквозь,
Что от избытка, от цветенья,
От изобилья, от щедрот,
Казалось, мир в изнеможенье
С ума от счастия сойдет!..
Был месяц май, и блеск, и в блеске
Зеленый сад и белый дом,
И взлет кисейной занавески
Над русским створчатым окном.
А перед домом, на площадке,
Веселый смех, качелей скрип.

И одуряющий и сладкий,
Неповторимый запах лип.
Летит в траву твой бант пунцовый,
А под ногой скользит доска,
Ах, как легко, скажи лишь слово,
Взмахнуть и взвиться в облака!..
И там, где медленно и пышно
Закатный день расплавил медь,
Поцеловать тебя неслышно,
И если надо, умереть…
Был месяц май, и небо в звездах,
И мгла, и свет, и явь, и сон.
И голубой, прозрачный воздух
Был тоже счастьем напоен.
Молчанье. Шорох. Гладь речная.
И след тянулся от весла.
И жизнь была, как вечер мая,
И жизнь и молодость была…
И все прошло, и мы у цели.
И снова солнце в синеве,
И вновь весна, скрипят качели,
И чей-то бант лежит в траве. 1929



ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Леонид Федорович Зуров: «*В годы войны Дон Аминадо занимал антифашистскую позицию, был на нелегальном положении. Выехав из Парижа, жил в Леонпелье, Экс-ле-Бен.*

После войны он жил в Иере (под Парижем), служил в учреждениях, весьма далеких от литературы и журналистики. Общительный и остроумный Дон-Аминадо, любивший многолюдные сборища, в послевоенные годы стал скрытен, мизантропичен, нелюдим.

Мы с Верой Николаевной Буниной радовались, когда он приходил. Аминад Петрович чувствовал и понимал все с первого взгляда. В те времена он уже не писал стихов, но в свободное время работал над книгой воспоминаний»[5].

Марк Алданов (Марк Александрович Ландау,1886-1957; прозаик, публицист, философ), бывший с Дон-Аминадо в близких, дружеских отношениях: *"Дон-Аминадо, чтобы никого не встретить, вообще никуда не ходит, а когда Надежда Михайловна (жена поэта) ему говорит:*

«А сегодня я встретила…», он мрачно ее обрывает: «Ты никого не встретила».

Мы с ним за все время встречались два раза. Правда, беседовали оба раза часа по полтора и отводили душу».

В августе 1945 Дон-Аминадо писал из Йера М.А. Алданову: «Романов и рассказов писать не собираюсь. Поздно. Но если б досуг был, то закончил бы нечто вроде chronique romancee – «Decharge» (Свалка) *—1915—1945. Правда, после этого пришлось бы уехать в Бразилию; ибо раскланиваться было бы уже не с кем».*

Досуг все-таки нашелся, и появился «Поезд на третьем пути».


Мой 20 век
Поезд на третьем пути
Дон-Аминадо


Д. АМИНАДО
ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Тут без небольшого отступления опять не обойтись…

Увидев это название, начал копаться в памяти в поисках подтекста. Почему сразу решил, что он должен быть – не знаю. Не нашел. Да и где искать? Кто в Интернете дает объяснения? Кое с кем поговорил…Результат тот же. А может быть, канонического подтекста нет, и никогда не было? Вернулся к исходному…Всего четыре строчки: *Бури. Дерзанья. Тревоги. /Смысла искать – не найти. /Чувство железной дороги…/Поезд на третьем пути*. Если «перевести» на простой, понятный язык, то читай – Зачем все было, если все бесполезно, все не так…

Блестяще написанные Воспоминания обрываются внезапно, именно этой строфой…Почему? Надоело? Но «этого не может быть, потому что не может быть никогда»! Бросить буквально на полуслове книгу собственной жизни…Невозможно!

Серьезно заболел? Но книга была опубликована за три года до ухода…

Сегодня кто-то скажет – депрессия! Добавлю, послевоенная. Подтверждением тому – *Послесловие,* написанное в 1938-м году, где рефреном уже звучит та же мысль, что и в «*Поезде…*»: *Жили. Были. /Ели. Пили/Воду в ступе толокли./Вкруг да около ходили,/Мимо главного прошли*.

А может быть,…все проще. И не надо ничего искать, усложнять. Просто, человеку было присуще обостренное *чувство железной дороги*…Ведь было уже в начале пути: *Снова вокзал. Снова звонок. – Поезд на втором пути!* Была *узкоколейка из Парижа в Елец.* Были и *рявкнул паровоз*, и *сторожка* и еще что-то… И вот, наконец, *третий путь* – почти тупик!?

А теперь об отношении к Дон-Аминадо современных литераторов.

Одним из немногих является известный, в первую очередь, на юге Украины, писатель Александр Викторович Дорошенко. Столкнувшись с ним и , с удивлением, вдруг обнаруживаешь, что Одесса имеет целую плеяду писателей, причем очень хороших писателей, пишущих о ней, знающих ее историю, беззаветно преданных ей, не умеющих любить ее без доброй улыбки. Конечно, и А.Дорошенко не мог пройти мимо Дон-Аминадо, поскольку тот, по сути, именно в Одессе формировался как поэт-юморист.

К сожалению, его заметка очень короткая, и касается лишь закатного периода Аминада Петровича, когда он «завязал» со стихами вообще. Но сказанное в ней *очень важное* для лучшего понимания перемен, произошедших с нашим героем после войны.

Александр Викторович Дорошенко: *В эмиграции он был относительно благополучен. Имел домик под Парижем, в городке Иер, и называл себя «иеромонах». Надломила его война. Очень чуткий, он уловил главное ее последствие – равнодушие к чужим бедам. «…О том, что было пережито всеми нами, – писал он в августе 1945 года, – оставшимися по ту сторону добра и зла, можно написать 86 томов Брокгауза и Ефрона, но никто их читать не станет. Поразило меня только одно: равнодушие…Вообще говоря, все хотят забыть о сожженных…ибо для тех, кто уцелел, Бухенвальд и Аушвиц – это то же самое, что наводнение в Китае». Он не только помнил. Он почувствовал эрозию почвы, грядущую, ту, до которой мы сегодня докатились, и перестал писать.*

Другой наш современник – **Евгений Александрович Евтушенко.**

Составляя свою антологию «Десять веков русской поэзии», он, естественно, не мог не включить в нее подборку стихов Дон-Аминадо. Рассказывая об этом в статье «Ясновидящий пророк», Евгений Александрович мельком напоминает о своем приоритете в возвращении домой имени поэта, делая основной упор на «детективной» истории с аминадовскими *серебряными, звенящими шпорами* (см. ЗАСТИГНУТЫЕ НОЧЬЮ), прикрепленными Георгием Ивановым к сапогам М.Ю.Лермонтова. (*Туман…Тамань… Пустыня внемлет Богу. /Как далеко до завтрашнего дня!../*

*И Лермонтов один выходит на дорогу,/**Серебряными шпорами звеня**).*

Невозможно не сказать, что на фоне рецензий Г.В.Адамовича и З.Н.Гиппиус, высказываний И.Бунина и М.Цветаевой, эта статья нашего знаменитого поэта (уже начиная с названия) выглядит более чем легковесной. К сожалению, Е.А. Евтушенко, с его признанным авторитетом, прошел мимо счастливой возможности рассказать о Дон-Аминадо с блеском, тем самым вытаскивая несправедливо забытого, великолепного поэта из забвения. Почему это случилось – непонятно. Скорее всего, из-за современного опять же равнодушия, свойственного иногда и многим талантливым людям (вспомните афоризм Дон-Аминадо). Но нет сомнения, Евгений Александрович, обладая безошибочными поэтическим чутьем и слухом, не мог не услышать и почувствовать, и «*удивительную способность*» поэта уходящего Серебряного века «*к стихосложению*», и «*высокую пробу его стиха*», и «*четкость ритма, хороший звон порой неожиданных рифм*», «*их живость и подлинное остроумие*». Но, все же, отдавая дань дню сегодняшнему, в первую очередь выделил шокирующие современника своим *провиденьем* места из «белого бычка» и «честности с собой», а также замечательные афоризмы (цитирую): «невозможно удержаться от соблазна – сыпануть на страницу хотя бы горсть аминадовских афоризмов»).<…>

«Но Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский), выходец из плеяды знаменитых младосатириконцев, был далеко не слаб как поэт. У него я недавно откопал даже географическо-политическое пророчество о том, где именно произойдет распад уже не романовской, а новой, красной империи: Это уже случай футурологического ясновидения.

Строчки Дона Аминадо, печатавшиеся в милюковских «Последних новостях», несмотря на непростые отношения с главным редактором, разлетались по всем маленьким и большим русским эмиграциям, рассыпавшимся по земному шару, повторялись пьяными в кабаках и ораторами с трибун благородных собраний. Он не боялся ставить знак равенства между Гитлером и Сталиным, писал ядовитые эпиграммы на кремлевских вождей и горько усмехался над теми, кто всё еще хотел въехать в Кремль на белом коне победителя. <…>

Книга воспоминаний Дона Аминадо «Поезд на третьем пути», к сожалению, была написана торопливой от газетной поденщины и вдобавок смертельно усталой рукой».

Однако Евгений Александрович не был бы Евтушенко, если бы не написал стихотворения, посвященного Дон-Аминадо. Ничего не говоря, (в силу некомпетентности), о его художественных достоинствах, невозможно не отметить две последние строки, и не *снять* за них *шляпу* перед большим поэтом.

САТИРА ЗНАЕТ, КАК ЕЙ ПОСТУПАТЬ

Поговорить немножечко бы надо

хотя бы с тенью Дона Аминадо,

гадавшего не на кофейной гуще,

а поточней – на Беловежской пуще.

Россию завоюет генерал?

Но тут у вас произошла накладка.

Ошиблись чином. Не прошло всё гладко.

Иначе Воланд карты разыграл.

Игра большая на земле и в небе шла,

и не смог помочь Ален Делон,

когда разбился о Россию Лебедь,

и не отжался, и не выжил он.

Но есть Гриневы в братстве офицеров.

Я армией спасен – я сын войны.

Поменьше бы воров и лицемеров,

и нам с Россией не было б цены.

Всё так же нищеваты деревеньки

и так же спесь чиновная мерзка.

Но деньги здесь уже не «дребеденьги» –

вот чему верит бывшая «Маркскова».

Но, несмотря на жанров этих разность,

навек сплелись в России в «наше всё» –

сатириков лирическая страстность

и гнев гражданский лириков ее.

В безликий строй всех снова не построишь.

Сатира знает, как ей поступать.

Ну что, Шполянский Аминад Петрович?

С приездом. Вы на родине опять.

2.ЕГО ТЕАТР ЮМОРА

Когда в 2016 г. было закончено эссе об этом талантливом человеке, стало понятно, что рассказал о нем далеко не все, нужно обязательно продолжить, и познакомить читателя и с его биографией, и его вечерами юмора, и его перепиской, рассказать о распространении его наследия среди моих современников, в литературе, публицистике, и даже на эстраде.

Стихов и фельетонов Дон-Аминадо было явно недостаточно. Ему было тесно в рамках этих газетных жанров. Ему еще нужны были кабаре, карнавал, бал, концерт, буффонада, пантомима, пародия…Он хотел дарить смех, улыбки, веселье, радость… Он не мог существовать без них. Короче – ему нужен был театр для себя. И в таком театре он был бы и сценаристом, и режиссером, и конферансье, и главным распорядителем, и организатором. А труппа состояла бы исключительно из знаменитостей, которые, не будучи профессиональными актерами (или будучи), не могли устоять под напором его обаяния и дара убеждения, и соглашались как на главные роли, так и роли пятого лакея или третьей стенографистки.

И все у него получалось! Почему? Да потому что у него была великолепная школа. Ее основы закладывались еще в Елисаветграде. Мастерству он обучался в театрах Одессы и Москвы. А специализацию и стажировку проходил в газетах «Рампа» и «Кулисы», балиевском кабаре «Летучая мышь» и “Кривом зеркале” Н.Евреинова.

Вот как он рассказывает о своих театральных университетах в Воспоминаниях.

Одним из страстных увлечений ранних гимназических лет был театр.

Это была одна из самых сладких и глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседневных, часто унылых и прозаических будней, в мир выдуманного, несуществующего, сказочного и праздничного миража.

– "Тьмы низких истин"… и прочее.

– "Пьём за здоровье тех матерей, что бросают своих детей под забором!..".

Какое сердце могло это выдержать? Весь театр всхлипывал, и только мы, молодёжь, одержимые сатанинскою гордостью, всхлипывать не смели, но сморкались зато часто и усиленно. Ибо и в этом было утверждение личности…

Я Эрос, да! Я той любви создатель,
Что упадает вглубь и рвется в небо, ввысь,
Я жизни жертвенник, я щедрый мук податель,
Начало и конец во мне всего слились…

И не переводя дыхания, швырял неосязаемую бесплотную Психею на пыльный ковёр, – ну, тут, провинция не выдерживала!

Стоном стонал пятиярусный, до отказу переполненный театр.

Восторг не знал границ, умилённое восхищение не имело пределов.

Театр был выкрашен в ярко-розовый цвет, на фронтоне золотыми буквами так и было начертано: Храм Мельпомены.

А под сим пояснение: театр отставного ротмистра Кузмицкого.

Внутри театра всё было, как надо. И вестибюль, и длинное фойэ, и у каждого внутреннего входа в зал непроницаемые контролёры, – и в провинции их называли билетерами.

И, наконец, самый зал.

Боже, с каким трепетом входили мы в храм искусства!

И как знали наизусть все эти ложи бенуара, бельэтажа, директорскую ложу, и все кресла первого ряда, на которых белели тщательно выписанные картонки: кресло господина полицей-мейстера; товарища городского головы; управляющего акцизным сбором; начальника пожарной команды, бранд-майора Кологривова; и три кресла для представителей печати…

Апофеозом нашей театральной жизни была, конечно, "Принцесса Грёза" Ростана, в стихотворном переводе Щепкиной-Куперник.

И когда опустился занавес, и театр, надсаживаясь до хрипоты, кричал неистовым голосом – "*Скарская, па-вта-рить!..*" мы все, сколько нас было в синих мундирах, с белыми кантами и о девяти серебряных пуговицах, протискались через толпу до самой авансцены и, в момент предельного пароксизма, запустили своими гимназическими фуражками прямо на сцену…Эпилогом к пьесе Эдмонда Ростана, члена Французской Академии бессмертных, было скучное постановление Педагогического Совета:

"За бросание фуражек на сцену, нижепоименованные воспитанники четвёртого класса Новоградской мужской классической Гимназии подлежат исключению из числа учащихся в вышепоименованном учебном заведении".

В театре

Есть блаженное слово-провинция…
Кто не видел из русских актрис
Этот трепет, тоску, замирание
Во блистательном мраке кулис!..
Темный зал, как пучина огромная,
Только зыбкие рампы огни.
Пой, взлетай, о, душа многострунная,
Оборвись, как струна, но звени!..
Облети эти ярусы темные,
В них простые томятся сердца.
Вознеси, погрузи их в безумие
И кружи, и кружи без конца!..
Дай испить им отравы сладчайшие,
И, когда обессилевши, ниц
Упадешь на подмостки неверные
Хрупкой тяжестью раненых птиц,
Дрогнет зал ослепительной бурею
И отдаст и восторг, и любовь
За твою небылицу чудесную,
За твою бутафорскую кровь!..(1928)

Не трудно видеть, что отставной ротмистр Кузмицкий заложил прочный театральный фундамент = основательно отравил кровь гимназисту А. Шполянскому.

Не могу здесь не отвлечься и не сказать *два слова* о прозе нашего героя.

Эти фрагменты (равно как и весь «Поезд…») написан как будто специально для Ираклия Луарсабовича Андроникова. Каждый сюжет, каждый образ – яркий, сочный, «сделан мастихином», одним мазком. Просто просятся на сцену. Так и вижу Маэстро устного рассказа на экране телевизора, сидящим в кресле за столиком, вкусно показывающего своих героев, точно имитируя их осанку, мимику, жест, интонацию, специфику речи… И все это делается челове-

ком со в меру громким голосом приятного тембра с едва ощутимым грузинским акцентом, и дополняется характерным прищуром глаз с лукавинкой и смешинкой.

Знал ли И.Л.Андроников о существовании Дон-Аминадо? Несомненно, знал! И, наверняка, с кем-то говорил о нем. Но вот почему никогда не обращался к его творчеству? Или обращался?…

А потом была Одесса!

А наверху, над портом, над красными пароходными трубами, рыбачьими судами, парусными яхтами, зернохранилищами и элеваторами, лебёдками и кранами, над всем этим копошившимся внизу муравейником, увенчанный осьмиугольной зелено-бронзовой главой, возвышался городской театр, гордость Одессы, а в театре, во все времена года, пели итальянские залётные соловьи, и звали их, как в либретто, – Сантарелли, Джиральдони, Тито Руффо, Ансельми, и еще Марио Самарко, которого студенты окрестили Марусенькой, и подносили ему адреса, неизменно начинавшиеся латинской перифразой из знаменитой речи Цицерона: Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra et rapere virgines nostras?! *(До каких пор, Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением нашим и похищать девушек наших?!).*

Певец посылал в ответ всё те же воздушные поцелуи и улыбался так, как улыбаются все баловни судьбы, и опять повторял, в который раз, из "Сельской чести":

– Viva il vino spumeggiante…

Любовь к итальянской опере считалась одной из самых прочных и укоренившихся традиций в этом чудесном и легкомысленном городе, и наиболее просвещенные меломаны, как бы в оправдание своего неизменного пристрастия, не упускали случая напомнить забывчивым, и просветить невежд:

-– Ведь даже, сосланный на юг России, сам Александр Сергеевич Пушкин услаждал свои невольные досуги столь частым посещением итальянской оперы, что генерал-губернатор Новороссии граф Воронцов, на отеческом попечении и под надзором коего он находился, обратил на это сугубое внимание…Тем более, что появлялся поэт всегда в одной и той же ложе, принадлежавшей супруге почтенного сербского негоцианта, смуглой красавице Амалии Рознич.

Ссылка Пушкина, ссылка на Пушкина, – после этой литературной цитаты, столь изысканной и столь красноречивой, умолкали даже самые строптивые староверы, требовавшие "Князя Игоря", "Рогнеды" и половецких танцев, а не слабосильных герцогов в напудренных париках и каких-то плебейских цирюльников, хотя бы и севильских…

Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кафейное заведение Либмана, – все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, которую французы называют:

-– Dix-neuf cents… La belle Иpoque! [* Девятисотые годы… Блестящая эпоха!]*

А затем—уже Москва.

Московский зимний сезон был в полном разгаре.

В Большом Театре шла "Майская ночь" Римского-Корсакова. "Рогнеда" и "Вражья сила" Серова. Не сходил со сцены "Князь Игорь".

Носили на руках Неждановy.

Встречали овациями Шаляпина, Собинова, Дмитрия Смирнова.

Эмиль Купер в каком-то легендарном фраке, сшитом в Париже, блистал за дирижёрским пультом, то морщился, то пыжился и, в ответ на аплодисменты кланялся только в сторону пустой царской ложи.

Спектакли оперы сменялись балетом.

"Лебединое озеро", "Жизель", "Коппелия", "Конек-Горбунок" – не сходили с афиш.

Екатерина Гельцер, про которую даже заядлые балетоманы умильно говорили, цитируя стихи Игоря Северянина:

"Она, увы! уже не молода,

Но как-то трогательно, странно – моложава",

-- продолжала делать полные сборы, держала зал в восторге и волнении, и со столь беспомощной грацией склонялась и падала на мускулистые руки молодых корифеев, то Жукова, то Новикова, что вызовам не было конца.

А когда танцевала русскую, чтоб не уступить Преображенской, поражавшей Петербург, то знатоки говорили:

– Вот видите, не хуже ее на пятачке танцует!

Пятачок был, разумеется, символом и означал, что настоящая балерина может всю гамму своего искусства развернуть и показать на столь ничтожном пространстве, что его можно и на пятачке уместить.

Потрясали сердца Вера Коралли и сталелитейный, пружинистый Мордкин в "Жизели".

И всё же лавры Петербургского балета не давали спать московским примадоннам, и не им одним.

"Умирающий лебедь" в исполнении Павловой считался шедевром непревзойдённым, а те, кто видел Кшесинскую в "Коппелии", считали, что настоящим балетоманам место не в Москве, а в Петербурге.

Грызли ногти и молодые корифеи.

Уже творил чудеса Сергей Павлович Дягилев, и всходила на невском небосклоне новая звезда – Вацлав Нижинский.

Свет ее был ослепителен, и сияния невиданного.

В Малом Театре царил Южин-Сумбатов.

"Измена". "Старый закал". "Соколы и Вороны". "Женитьба Белугина". "Свадьба Кречинского".

Старый, престарый, слегка уже молью траченый, но всегда себя оправдывавший репертуар.

И, конечно, Островский, Островский, Островский.

"Не в свои сани не садись".

"Бешеные деньги".

"Без вины виноватые". "Гроза". "Бесприданница".

И "Лес", "Лес", "Лес"!

С К. Н. Рыбаковым, игравшим Геннадия Демьяныча, с Осипом Андреевичем Правдиным в роли Аркашки, с Ольгой Осиповной Садовской – помещицей Гурмыжской, с первым любовником, молодым кумиром, стройным как тросточка, В. В. Максимовым.

В Малом Театре и чин, и лад.

И лад, и ладан.

Старина, причуды, предания.

Традиции и обычаи; ни раскола, ни своевольства.

В фойе портреты в золотых рамах, а на них вязью написано:

-- Рыбаков, Николай Хрисанфович.

-- Щепкин, Михаил Семёнович.

-- Садовский, Пров Михайлович.

А на сцене, в парче, в бархате, в чепцах с наколками, а то и в ситцевом, иль в кисеях с оборками, живые, настоящие, на пьедестале стоящие, к толпе снисходящие, дородные, благородные – Федотова, Ермолова, Лешковская, Яблочкина.

И в зале тоже не выскочки, не декаденты, не вчерашнего дня люди, а вся первая гильдия, московская и замоскворецкая, именитое купечество и чиновный мир, и уезд, и губерния, и лицеист – раковая шейка – в мундирах, при шпагах, и из институтов для благородных девиц розовые барышни во всём крахмальном.

И даже в четвёртом ярусе, и на галереях, и на боковках, – не жужжат, не галдят, а в четверть голоса разговаривают, друг дружке на ушко шепчут, в кулачок хихикают, непрошеные слезы кружевным комочком, носовым платочком тихо утирают.

А в антрактах военные перед пустой царской ложей на вытяжку стоят, ни за что ни один в кресло не сядет.

Что и говорить. Не ярмарка, не балаган, а храм искусства, прочная постройка, крепость, не крепость, а всё-таки цитадель.

***

-– В Большом были? И в Малом были? А у Незлобина не были? И у Зимина не были? И у Корша тоже? И Сабурова не видали?

Трудно провинциалу на московский размах сразу переключиться.

Не угонишься за всем, не поспеешь.

Вот у Зимина, в театре Солодовникова, в декорациях Сапунова "Чио-Чио-Сан" идёт.

Не опера, а дорогая безделушка, из архивов выкопанная, сам маэстро Пуччини во дни молодости написал.

Рецензенты с ума сходят, одни превозносят, другие язвят, а маэстро афишу пятый месяц держит, и всё аншлаг, аншлаг, аншлаг.

У Незлобина тоже, за пятнадцать дней вперёд все продано. Барышники шкуру дерут, а публика всё равно валом валит.

Для Москвы новинка.

Никто раньше не додумался, а Федор Федорович Комиссаржевский додумался.

"Принцессу Турандот" Карло Гоцци так приспособил, так по-новому освежил и поставил, таким лёгким дыханием согрел, и оживил, что сам Петр Ярцев, самый зловредный из театральных критиков, из Санкт-Петербурга на один вечер, на первое представление приехал, а потом целую неделю из театра не выходил, и всем руки, жал – и Комиссаржевскому, и Рудницкому, и старику Незлобину, а пуще всех принцессе Турандот.

***

Успех родит успех.

После "Турандот" – "Псиша" Беляева.

Которого почему-то называли Юрочка Беляев.

Хотя было ему сорок лет, и числились за ним и романы, и комедии, и "Сестры Шнейдер", и нашумевшая "Дама из Торжка", и многие другие "брызги пера", острого и неизменно талантливого.

Играла "Псишу" В. Ф. Юренева, когда-то ранившая сердца молодых новороссийских студентов.

А. Г. Кугель писал однажды:

"Отчего таким особым и благородным блеском горят и переливаются обыкновенные подделки, стекляшки, и побрякушки на бутафорском ожерельи актрисы?"

И сам же и пояснял:

"Оттого, что из тысячи устремленных на лицедейку глаз, из глубины расширенных, прищуренных, всепоглощающих зрачков, из всего этого многоокого, напряжённого зрительного зала исходит такое марево, такая ненасытная, жадная и соборная теплота, что поддельные, бутафорские стекляшки вбирают её в себя, и пьют её, и выпивают и, загораясь блеском драгоценных бриллиантов, возвращают этот блеск в тёмный театральный зал и зал его взволнованно принимает, ибо и пьеса, и героиня, и ожерелье на шее – принадлежат ему".

И вновь, задевая воланами полукруглый выступ суфлёрской будки, выходила на вызовы любимица богов и любовь поколения, окружённая венками и розами, оранжерейными розами, уже тронутыми московским снегом, и беспомощно, всегда беспомощно! разводя руками – отдаю вам всё, что имею! – устремляла в рукоплещущее море свой мечтательный, затуманенный увлажненный взгляд.

За Юрием Беляевым следовал Осип Дымов.

В Каретном ряду еще театр, по тогдашней терминологии тоже передовой, "Свободный театр" Марджанова.

В Репертуаре Стриндберг, Ибсен, Лопе-де-Вега, Кальдерон.

А вперемежку, чтоб дать зрителю дух перевести – "Весенний поток" и "Мечта любви" Косоротова.

И еще нашумевшая "Желтая кофта", и в ней, в главной роли Н. П. Асланов, перешедший от Незлобина, где в приспособленном для сцены "Идиоте" Достоевского играл он князя Мышкина, и так играл, что не только стяжал себе лавры неоспоримые, но и в весе еже вечерне терял фунт без малого.

Из Каретного ряда на Большую Дмитровку в Богословский переулок, в театр Корша. Столпом дела здесь считался Андрей Иваныч Чарин, отличный актер старой школы, ведший свою родословную от Геннадия Демьяныча Несчастливцева, от Судьбинина, от Орлова-Чужбинина.

От Коршевского "Велизария" до опереточного Никитского театра, что и говорить, дистанция огромного размера.

Зазвонили "Корневильские колокола", защебетали "Птички певчие", а вслед за "Нищим студентом" и "Цыганским бароном" появилась "Весёлая вдова" и "Сильва".

Потопчина превзошла самоё себя, делала полные сборы, собирала всю Москву, притоптывала каблучками, танцевала венгерку, отделывала чардаш, уносилась в вальсах, щёлкала серебряными шпорами в "Мамзель Нитуш", заражала зал смехом и весельем в "Дочери мадам Анго"…

В Камерном, на Тверском бульваре, мистерия за мистерией.

Котурны, маски, жертвенники.

Всё в хитонах, в туниках, а то и в саванах.

Алиса Коонен три акта Шарля ван-Лерберга замогильным голосом на одной ноте декламирует, о законном браке слышать не хочет.

А Таиров все уговаривает, да уговаривает, и все под музыку.

И так до конца – туники, саваны, духота, томление, безнадёжность полная.

Ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно…

А театр набит битком.

И бледнолицые барышни и эстеты в страшном восторге, потрясены, и аплодируют.

У Сабурова – ни туник, ни хитонов. Каждый вечер французский фарс в переводе Бинштока. С самого начала всё ясно.

Все кончается вполне благополучно, а Грановская, несмотря на вопиющую пошлость и пьесы и роли, совершенно бесподобна.

Умна, женственна, грациозна, лукава, и одному Богу известно, что её, как птичку в золотой клетке, годами держит в Сабуровском фарсе?

Один из лучших знатоков театра, А. Г. Кугель, писал в "Театре и искусстве":

"Грановская это жемчужина в навозной куче. Ей бы играть хозяйку гостиницы в пьесе Гольдони, или продавщицу цветов в "Пигмалионе" Шоу, или даже Розину в "Севильском цирюльнике", а её, бедняжку, в корсет Поль-де-Кока тискают и дышать не дают"…

Обозрение театров приближалось к концу.

Апофеоз был в Камергерском переулке.

Камергерский переулок – Художественный театр.

Театр Станиславского, театр Немировича-Данченко.

Об этом написаны трактаты, мемуары, воспоминания, фолианты.

Поколение, которое доживает век, еще до сих пор ничего не забыло.

И, когда за чашкой зарубежного чая, собираются вместе в тесный, с каждым годом редеющий кружок, где-нибудь в Париже, в Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейро, в чорта на рогах, то и дело слышишь:

-– А помните в "Дяде Ване" удаляющуюся тройку и колокольчики за стеной?

-– А как Артём на гитаре тренькал?

-– А старика Фирса помните?

-– А "На дне" Горького, помните, как говорил Барон, лёжа на нарах, – в карете прошлого далеко не уедешь! Как он это говорил!

-– А кто играл Вершинина в "Трех сестрах"?

-– Ну, Станиславский, конечно!

-– Разве можно забыть, как он напевал вполголоса "Любви все возрасты покорны…"

-– А молодые поручики в белых кителях, Федотик и Родэ?.. Целовали ручки, щелкали фотографическим аппаратом и всех снимали на память.

И полк уходил из города, и издали доносились звуки военного марша, и постепенно замирали, замирали…

-– А помните, как играл Станиславский князя Обрезкова в "Живом трупе"?

-– А Лилину помните?

-– В большой гостиной, где диваны и кресла из карельской березы и всё обито вялым лиловым шелком?

-– А Москвин – Федя Протасов?

-– Помните, как он лежал на тахте, закрыв лицо руками, а цыгане пели "Эх, не вечерняя, не вечерняя заря"?

-– А как Качалов играл набоба Баста "У жизни в лапах"?

-– А кто помнит Москвина в роли Федора Иоанновича? "Я царь, или не царь?!"

-– А как он изображал Кота в "Синей птице"!

-– В черных бархатных сапогах, и такой ласковый, ласковый, и голос сладкий и вкрадчивый, а как был загримирован?!

-– Помните, усы? Три волоска, как в струну вытянуты, и длинные-предлинные, три с правой стороны, и три с левой!

-– А "Miserere" помните? И музыку Ильи Саца?

-– А в "Вишнёвом саду" декорации Добужинского?

-– А "Месяц в деревне"?

-– Зеленую лужайку, залитую солнцем. И легкие, белые занавески на окнах, которые от ветра колышутся?

-– И Вишневский в роли Бориса Годунова?

-– А актрисы, актрисы? Книппер, Германова, Коренева?

-– А Ликкиардопуло, непременный грек, поэт, советчик, переводчик?

-– А кто, господа, помнит, как чествовали Чехова?

-– И как ему было стыдно и неловко. И как он, бедный, снимал пенснэ, пожимал руки, и покашливал?

-– А как приезжал этот самый Гордон Крэг, и хотя и англичанин, а всё время облизывался от восторга?

-– А Сураварди? Верный индус Камергерского переулка? Который привозил живого Рабиндраната Тагора, прямо из Индии в Художественный кружок?

-– А помните? Помните? Помните?

В Петрограде, в высшем обществе репетируют "Горе от Ума", Карабчевский будет играть Чацкого, спектакль разумеется в пользу раненых, дворцовый комендант Дедюлин сообщил по секрету, что Их Величества почтут спектакль своим присутствием.

В московской "Летучей мыши", в Гнездниковском переулке, в новом подвальном помещении, в доме Нирензее, готовится военная программа.

Н. Ф. Балиев хрипит, волнуется, терроризирует всех и вся, накидывается на Архангельского, композитора и дирижёра, на огромного, явно раздражающего своим спокойствием Кареева, ответственного Санхо-Панчо и главного администратора.

Достаётся актёрам, музыкантам, декораторам, костюмерам.

Репетируют по два-три раза в день, до предельной усталости, до полного изнеможения.
<…>

Балиева встречают длительными, дружными аплодисментами, шумными восклицаниями, приветствиями, улыбками, – публика считает, что он глубоко свой парень, а он считает, что она глубоко своя публика.

В какой-то мере это, вероятно, так и есть.

Никита Федорович, еще только несколько лет назад небольшой актёр Московского Художественного Театра, устроитель знаменитых капустников, сделал неслыханную карьеру.

Объяснял он этот успех по-своему:

-– Дело не только в том, что я нашёл совершенно новый жанр, у нас неизвестный, а в Монмартрских кабарэ процветающий чуть ли не со времени французской революции.

И не только нашёл и приспособил, и передвинул его на язык родных осин.

А дело в том, что я никогда и ничем не доволен, ни сотрудниками моими, ни переводчиками, ни авторами, ни художниками, ни композиторами, ни машинистами, ни кассирами, а больше всего самим собой.

В признании этом была доля правды.

При всей своей прочно установившейся репутации одного из самых весёлых и остроумных людей, Балиев был молчалив, задумчив, раздражителен, угрюм, темпераментом обладал холерическим и, по уверению всё того же Н. Н. Баженова, всю жизнь блуждал меж трёх сосен.

Одна сосна была Ипохондрия, другая Неврастения, а третья Истерия.

-– Но, – хитро улыбаясь, добавлял московский психиатр, – блуждать то он блуждал, а как видите, всё-таки не заблудился.

Справедливость, однако, требует сказать, что одной ипохондрией успеха и славы не добьёшься.

Надо было обладать несомненным и недюжинным чутьём, вкусом и талантом, чтобы достичь той славы, которая увенчала карьеру Балиева.

Талант у него был по преимуществу режиссёрский, и постановщик он был на редкость незаурядный.

Что касается вечного недовольства и неудовлетворённости, то и эти черты характера сослужили свою службу.

Круглые бездарности всегда от самих себя в восторге.

К этому надо прибавить еще одно: явление случайное, но чрезвычайно умно и необъяснимо использованное.

-– Наружность, данную от Бога, и от родителя, нахичеванского купца, торговавшего красным товаром.

Василий Иванович Шухаев, один из исключительно талантливых художников описываемого времени, вернувшийся из эмиграции в советскую Россию и, по слухам, расстрелянный, написал Балиева коричневой гуашью, изобразив его в виде круглого, улыбающегося полнолуния.

Этим полнолунием Балиев и промышлял.

В Москве, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, по всему белу свету прогуливая свою "Летучую мышь", высовывал он в прореху опущенного занавеса то нарочито хмурую, то обезоруживающе-добродушную нахичеванскую луну, передёргивая её какой-то непонятной, загадочной, но уморительной гримасой, и быстро задёргивал занавес.

Лёд был сломан в мгновение ока.

Зал покатывался со смеху.

И никто, и нигде, даже сам Баженов, не могли объяснить, почему, собственно говоря, все это так возбуждающе-благотворно действовало на столь различную и в восприятиях своих столь неодинаковую и многообразную публику, каковой была публика московская, парижская, лондонская или нью-йоркская.

А между тем, было это именно так, и уцелевшие зрители и слушатели вероятно охотно с этим согласятся.

Так, по установленному и освящённому успехом ритуалу, и начался новогодний спектакль, о котором идёт речь.

Нарядный зал притих, вспыхнули разноцветные огни рампы, и между слегка раздвинутых складок занавеса появилась голова Балиева.

Брови нахмурены, переносица в трагических морщинах, как у Томазо Сальвини, удушающего Дездемону, глаза буравят и непроницаемые пластроны и беззащитные декольтэ, – а зал гремит от аплодисментов, и заразительно хохочет.

Образ луны немедленно появляется снова, она улыбается направо, и улыбается налево, как будто хочет сказать:

-– В таком случае будем веселиться!

Занавес раздвигается и Никита Балиев, всамделишный, живой, в безукоризненной фрачной паре, с орхидеей в петлице, похолодевшей от волнения рукой дает знак Архангельскому:

-– Прошу петь всех, и до директора Археологического института, Александра Ивановича Успенского включительно! – властной и хриплой скороговоркой приглашает гостей хозяин.

Опять взрыв смеха, и все наперебой начинают искать глазами жертву вечернюю.

-– Александр Иваныч, дорогой, потрудитесь подняться, будьте столь добры и любезны, всякому москвичу лестно поглядеть на вашу многоуважаемую бороду!

Зал гогочет и, быстро открыв, по предательски указанному признаку, единственную в зале непроходимую, тёмную, густую, чуть-чуть тронутую сединой профессорскую бороду, встаёт с мест и неистово аплодирует угловатому, смущенному, красному как рак, директору археологического института.

А Балиев не унимается.

-– Боги жаждут! Сегодня или никогда!

И, войдя в раж и не обращая внимания на уже совершенно пунцовую жертву, от ужаса прикрывшую лицо руками, без пощады продолжает:

-– Знаете ли вы, господа, что содеял наш Александр Иваныч два месяца тому назад в Петергофе, в кабинете Его Величества.

Зал напряженно ждёт, градоначальник в первом ряду, даже шпорой не звякнет.

И, выдержав паузу, Никита-Кожемяка, как назвал его Борис Садовской, торжественно объявляет:

-– Быв весьма обласкан и удостоившись Высочайшего рукопожатия, вышел как ни в чём не бывало в приёмную и еще хвастался:

-– Как можно требовать от Государя, чтоб он всё знал и всё видел, когда вот я, грешный, забыв впопыхах воротничок и галстук надеть, и, дрожа от страха, прикрывал наготу свою бородой своей, а его Величество так ни малейшего внимания и не изволили обратить!..

Сюжет, паузы, интонации, вся эта художественная балиевская постановка, ощущение сюрприза, неожиданности, а может быть, и присутствие в зале этой самой вызывающей и виновной бороды, – всё вместе взятое вызвало такой безудержный взрыв хохота, восторга и столь явно предвещало счастливый Новый год весёлого настроения, что не только бурным аплодисментам не было конца, не только в порядке сознательной или инстинктивной фронды, все бросились пожимать руки бедному, готовому провалиться сквозь землю Успенскому, но и сам Свиты Его Величества генерал и московский градоначальник, оправившись от страха, приятно звякнул серебряными шпорами и милостиво улыбнулся…

Алёша Архангельский ударил по клавишам и не прошло и секунды, как вся труппа на сцене и, за нею, публика в зале, беспрекословно повинуясь безголосому Балиеву, уже пели дружным, соединенным хором, шутливую кантату, сочиненную Л. Г. Муншейном, которого под именем Lolo знали не только в Москве и в Петербурге, но и в далёкой театральной провинции.

После кантаты начался самый спектакль.

Инсценировки, скетчи, пародии, юморески, цыганские романсы в лицах, один номер за другим следовали быстрым, увлекательным, ни на миг не угасающим темпом.

Отдавая должное моменту, Балиев внушительно потребовал особой тишины и внимания, "Ибо в том, что пройдет сейчас перед вами, речь идет не о нас – здесь, а о них – там!.."

Зал покорно переключился, и на сцене, освещенной далёким, багровым заревом, появились носилки, раненый солдатик, забинтованный марлей, и сестра милосердия с красным крестом на груди.

Солдатик был театрально бледен и безмолвен, а сестра милосердия, под сдержанный аккомпанемент рояля, вдохновенно декламировала стихи Д. Аминадо, не без пафоса швырнув в зал заключительную строфу:

Далеко, за пургой и метелью,
Сколько милых в бою полегло…
Расступитесь пред серой шинелью
Вы, которым светло и тепло!

Какое-то декольтэ в ложе глубоко вздохнуло.

Публика аплодировала.

Туманова, изображавшая сестру милосердия, долго раскланивалась. Балиев был явно удовлетворен: дань моменту была отдана, хоть какое-то приличие было соблюдено.

За "Серой шинелью" следовала пародия того же автора, называлась она "Сон Вильгельма".

Германского кайзера играл Я. М. Волков, играл умно и сдержанно.

Кайзер, в халате и остроконечной каске, спал и бредил.

В просвете освещенного луной окна, одно за другим возникали снившиеся ему видения: Александр Македонский, Аттила, Фридрих Барбаросса, Наполеон.

Все они говорили что-то очень неприятное, и всё стихами.

Вильгельм со сна отвечал что мог, но прозой.

Из которой ясно было, что всё равно ему не сдобровать.

После чего исполнители послушно выходили на вызов, Балиев кланялся и, щуря правый глаз, клятвенно уверял, что автора в театре нет.

После военных номеров появилась пользовавшаяся сумасшедшим успехом "Катенька", которую действительно незабываемо играла и пела прелестная и кукольная Фехнер, и кружась, и танцуя, и выпучив свои не моргающие, наивные, стеклянные глаза, и вся на невидимых пружинах, как чечётку отбивала, веселилась, отделывала, всё тот же навязчивый, заразительный речитатив:

Что танцуешь, Катенька?
Польку, польку, маменька!
С кем танцуешь, Катенька?
С офицером, папенька!

А папенька с маменькой, только грузно вздыхали, хлопали себя по ватным коленкам, и укоризненно вторили под аккомпанемент машины:

Ишь ты, поди ж ты,
Что ж ты говоришь ты!..

Температура подымалась.

Балиев был неисчерпаем.

"Музей восковых фигур". "Марш деревянных солдатиков".

Изысканный остроумный лубок Потёмкина "Любовь по чинам".

Пронзительная, дьявольски-зажигательная Тамара Дейкарханова.

Алексеева-Месхиева, не женщина, а кахетинское вино! – как говорил Койранский.

Юлия Бекеффи, протанцевавшая такую венгерку, такой чардаш, явившая столь необычайный задор и молодой и своевольный блеск, что у самого В. А. Маклакова, по его собственному признанию, в зобу дыханье спёрло.

Еще Виктор Хенкин в песенках кинто. И еще, и еще, всего не упомнишь.

А ровно в двенадцать часов – цыганский хор, "Чарочка", дрожащие в руках бокалы, поздравления, пожелания, троекратные лобызания, шум, гам, волнующееся море шелков, мехов, кружевных накидок, мундиров, фраков и, наконец, вершитель апофеозов, долгожданный московский любимец Б. С. Борисов, сам себе аккомпанирующий на гитаре и поющий почти без голоса, но с каким вдохновением, мастерством, с каким проникновенным умилением и какие слова, не блещущие чеканной рифмой, но полные вещего, рокового значения:

Время изменится,
Всё переменится,
Правдой великою
Русь возвеличится!..

Несбыточные надежды, "бессмысленные мечтания". Но надо же за что-то уцепиться, во что-то верить, жить, мечтать, надеяться:

-– В канун 16-го года, на третий год войны, когда в России сегодня Горемыкин, а завтра Штюрмер, и в жёлтом петербургском тумане все огромнее и неодолимее, как гоголевский Вий, вырастает, ширится, заслоняет фронт, страну, народ – неуёмная, зловещая, длиннополая тень сибирского зеленоглазого мужика, Григория Распутина…

Ну, все! Хватит! Конец всем школам и университетам. Пора приниматься за свое.

И вот—проба пера – ВЕСНА СЕМНАДЦАТОГО ГОДА

Политический памфлет в 6-ти картинах с прологом и эпилогом

(привожу лишь наиболее живописную часть пьесы). Отдельное издание. М., 1917.

ПРОЛОГ "ПАНСИОН КОРОЛЕЙ"

Одна задняя декорация: пожелтевшая от времени мраморная стена, покрытая трещинами. Немного отступя от стены, по обоим бокам ее – две колонны в трещинах и в паутине. К стене приставлена этажерка. На полках аккуратно сложены разного вида и размера короны. В средине стены довольно высокое окно. Зимние сумерки. Видно, как падают (в течение всего действия) мягкие хлопья снега и методически-правильно мелькает блестящий штык часового (его самого не видно). Слева за маленьким столиком сидят на мягких пуфах Абдул-Гамид и Магомет-Али. Они играют в карты по маленькой. У одного длинный по полу чубук. Возле другого – кальян. Оба курят. Синеватые кольца дыма. В глубине сцены – справа, недалеко от окна, в кресле ampir, опустив ногу на парчовую подушку, дремлет Людовик XVI. Вправо от него виден краешек бронзовой решетки; на ней отблеск догорающего камина. Справа на авансцене в качалке – Мануэль. Он старательно делает маникюр. Напевая время от времени (вполголоса) легкомысленную песенку.

Все четверо страшно скучают. Частая зевота, то у одного, то у другого (заражают друг друга). Печать безнадежной скуки и безделья, доводящего до тошноты. По временам лирический тон беседы сменяется всеобщим раздражением. Справа, за качалкой, обыкновенная стоячая вешалка; на ней висят две горностаевые мантии.

В комнате царит смешанный свет умирающего зимнего дня, огня в камине и тлеющих угольков на маленькой низкой жаровне под прибором для кальяна. Людовик королевским жезлом изредка мешает угли в камине.

УЧАСТВУЮЩИЕ:

Людовик XVI – придерживает голову; бархатный камзол, шитый золотом, шляпа с перьями, шпага, туфли на красных каблуках с большими пряжками-бантами, напудренный парик; характерный орлиный нос, презрительная улыбка. Он снисходит к своим случайным соседям.

Султан Абдул-Гамид – комическая фигура восточного деспота.

Экс-король португальский, Мануэль – светский хлыщ в костюме для верховой езды. Воплощение пустоты и ничтожества. Слегка картавит и грассирует.

Магомет-Али – низложенный шах персидский.

Гений Весны – прекрасная молодая девушка, высокая, сильная и стройная; полуобнаженная; в огненной оранжево-красной тунике, на голове фригийский колпачок. Олицетворение Вечного Возрождения. За спиной – два красноватого оттенка крыла. Вдоль правого бедра короткий меч.

Перед тем как медленно раздвигается занавес, слышны отдаленные звуки музыки: "Куда, куда вы удалились" (Из Онегина). Только после того, как прозвучит такт, соответствующий словам "паду ли я" (в этом месте музыка резко обрывается),– занавес раздвигается.

Шах. Опять вы, ваше величество, передернули…

Султан *(обиженно-добродушно).* Я? Да что вы! Ничего подобного, ваше величество… Зачем бы я стал передергивать, когда все пики у меня?

Мануэль *(качаясь).* Но!.. вы, по обыкновению, слишком надеетесь на свои пики!.. *(иронически)* Был, говорят, случай, когда они вам блестяще изменили и повернулись против вас… точно так же, как и *(обращаясь к шаху)* против вас, ваше величество…

Шах. И совершенно так же, ваше величество, как и против вас!..

Мануэль *(старательно полирует ногти и вполголоса напевает из "Король веселится" -– "на Монмартр лечу, с кем хочу,-– кучу"…).*

Султан *(вяло).* Вам сдавать.

Шах. Снимите.

Медленно тасует карты. Сдает. Султан начинает тихо позевывать. То же – Шах. За ним – Мануэль, изящно похлопывая рукой по разомкнутым зевком губам. Пауза. Игра продолжается молча. Курят. Мануэль – сигару, старательно пуская кольца дыма и качаясь в качалке.

Шах. Карту…

Людовик

(в глубине сцены; слегка напыщенно, но тихо, медленно и мечтательно начинает предаваться воспоминаниям; отдаленные, еле слышные звуки музыки).

Я помню залы Трианона…
Веселый бал… и треск ракет…
Склонясь почтительно у трона,
Играли женщины в пикет.
Я помню… шуток легкий говор
И изумительный бигос,
Которым королевский повар
Дразнил изысканный мой нос!..
Была весна!.. цвели каштаны.
В бокалах пенилось Аи.
Всю ночь версальские фонтаны
Журчали песенки свои.
Бежали дни в калейдоскопе,
Переплетая с грезой быль.
Я был единственным в Европе,
Создавшим собственный свой стиль.
Мои сады… дворцы… витражи…
Монастыри… конюшни, двор!
Мои любовницы!.. и даже
С моим портретом – луидор.
Кто мог, как я, прием устроить
И подобрать букеты вин?
Фривольной песней успокоить
Тревоги царственных седин?

Во время монолога Султан и Шах, продолжая играть, изредка роняют: "туз", "король", "ваш ход", "карту"; затем постепенно перестают играть, начинают прислушиваться к словам Людовика и мечтать… каждый отдается своим мыслям. Даже Мануэль время от времени перестает полировать ногти.

(Оживляется; речь громче. Судорожно хватается за ручки кресла. Брови сведены. Глаза горят).

Я жил в угаре фестиваля
И прогонял сомненья прочь.
И вдруг… я помню!.. парк Версаля!
И конский топот в эту ночь!..
Гроза была все ближе, ближе…
Толпа стремилась во дворец
А там… а там!.. в моем… Париже!
Уже готовился конец…

(Пауза. Переводит дыхание. Голос снова становится глухим и зловещим. Шах и Султан тягостно молчат. Оба подавлены. И один только Мануэль пробует хорохориться; перекидывает ногу на ногу.)

Сорвав последние плотины,
Народ ворвался в Трианон…
И на подмостках… гильотины!..
Я был… торжественно казнен…

Шах, Султан и Мануэль тяжело и испуганно вздыхают и инстинктивно хватаются за головы.

Султан

Хвала великому Аллаху!..
Я тоже с трона полетел,
Но… *(не без гордости)* мой народ не ставил плаху.

Мануэль *(иронически)*

Народ мараться не хотел!..

Султан *(возмущенно)*

Ну, вы… послушайте!.. не слишком!..
Не смейте дерзости болтать!

Шах

Таким распущенным мальчишкам
Вообще полезнее молчать…

Мануэль презрительно и насмешливо насвистывает какой-то легкомысленный мотив и, продолжая качаться, вынимает из несессера ручное зеркало, щетку и гребень и приглаживает пробор. Шах и Султан безмолвно и меланхолически возобновляют игру в карты.

Людовик

(продолжает в первоначальном грустном и надтреснутом тоне)

С тех пор, в ряду теней суровых,
Томлюсь в темнице я своей,
Где каждый раз встречаю новых
Царей, владык и королей…
Народов нрав жесток был древле,
Сравнить с сегодняшним нельзя…
Да!.. *(со вздохом)* вы отделались дешевле,
Мои случайные друзья!..

(Короткая пауза)

Султан. Еще бы… в сущности говоря, народ даже любил меня…

Мануэль. "Но странною любовью…"

Султан *(отмахиваясь).* И, если бы не роковое стечение обстоятельств, кто знает… быть может, и в настоящую минуту я… *(мечтательно)* возлежал бы в своем серале, среди прекрасных гурий Востока!.. Аллах-Керим!.. *(причмокнув языком)* у меня были такие красотки…

Шах. Абдул… не раздражай…

Султан *(продолжает).* Помню, за одну жемчужину Багдада я отдал все свои корабли, стоявшие у Босфора… хороша была девчонка!..

Мануэль *(зевая).* Любовь доводит даже до кораблекрушения!.. *(Пауза; по очереди все зевают.)* Итак, ваше величество, вас погубили женщины…

Султан. А вас, ваше величество?

Мануэль. Меня? Представьте!.. Борзые!.. Обыкновенные борзые собаки… Вы представить себе не можете, до чего я люблю борзых! У меня даже вышел крупный конфликт с парламентом Португалии из-за одного *(грассируя и картавя)* очаровательного борзого щенка… Это было редкое создание, насчитывавшее десять поколений премированных предков и получившее золотую медаль из рук самой королевы!..

Султан *(заинтересовываясь).* Ну?..

Мануэль *(заметно оживляясь).* Ну, я и потребовал, чтобы парламент вотировал специальные кредиты на покупку щенка, так как собака была оценена в несколько миллионов франков!.. Редкий экземпляр!.. И знаете, что ответили мне господа члены парламента?! *(Короткая пауза).* Они ничего не ответили… Они просто выгнали меня… из Лиссабона… *(впадая в чуть-чуть капризно-плаксивый тон)…* как собаку…

(Небольшая пауза. У всех позы задумчивости. Во время последних слов Мануэля Шах задремал и слегка покачивается на низком пуфе, подогнув под себя ноги. Он даже чуть-чуть подхрапывает…

Затем Мануэль оправляется, сворачивает длинную стрелу из белой бумажки и, подкравшись к Шаху, пускает ему гусара. Общий смех; кроме Людовика, который молча поправляет жезлом огонь в камине.)

Шах *(вздрогнув, с комически-испуганным видом хватается за нос).* Как вы смеете? Это оскорбление величества!..

Мануэль *(насмешливо).* Наоборот! Что вы, что вы, ваше величество?! *(Вновь поднося к носу Шаха свернутую бумажку.)* Я пустил вам гусара… Но это единственный гусар, оставшийся верным вашему величеству… Вы, положительно, можете на него рассчитывать!..

Шах *(машет на него рукой и раскуривает на угольках чубук).* Отстаньте!.. Иначе я прикажу вас посадить на кол…

Мануэль. Руки коротки! Довольно, насажали… Это вам не Персия!.. Расскажите-ка лучше, ваше величество, каким образом вы потеряли вашу великолепную корону льва и солнца?..

Шах *(угрюмо).* Не хочу…

Мануэль. Ну, пожалуйста, пожалуйста, расскажите *(грассируя),* это забавно… Такая *(зевая)* адская скука!..

Султан. Расскажи, приятель!.. Все равно делать нечего!.. В разговорах хоть время не так убийственно тянется.

Шах колеблется. Мануэль чуть-чуть придвигается, заранее улыбаясь, словно предвидя нечто очень забавное.

Мануэль. Ну валяйте, ваше величество!.. Рассказывайте, что вы там, у себя в Персии, натворили?..

Шах *(уступая просьбам, лаконично).* Ничего я не натворил… А просто… Обожрался…

Мануэль *(сдерживая смех).* Как обожрались?.. Чем?..

Шах. Чем?.. Чем?.. Известно, чем. Дынями!..

Мануэль. Но позвольте, при чем же здесь ваш престол?

Шах *(смотрит на него молча, как будто возмущаясь: как это можно не понимать таких простых вещей).* Я ведь вам говорю… Дынями!.. Объелся… и заснул. Так, меня, сонного, и вынесли!.. Только в Одессе и проснулся… На берегу моря; а у меня уж – ни трона, ни короны, ни… настойки из дынных корок…

Мануэль *(более сдержанно, с ноткой сочувствия).* Скажите, какая неприятность… все-таки… Это жестоко… Ну, а народ? Ваши верноподданные… Что они делали в это время?

Шах. Ничего не делали… *(пауза)* голодали… *(пауза)* оттого все и вышло… *(Вздыхает, попыхивает трубкой и, слегка раскачиваясь, снова погружается в дрему.)*

Мануэль *(встает с качалки. Заложив руки в карманы, прохаживается по комнате. После небольшой паузы).* М-да… Ce qu'on appelle histoire!..

Небольшая пауза. Издалека, еле-еле слышные, доносятся звуки музыки, сопровождающей впоследствии появление Гения Весны. Мануэль подходит к окну, тихо барабанит пальцами по стеклу. В камине, умирая, ярче вспыхивают языки пламени. Угольки на жаровне постепенно гаснут. Тени в комнате становятся длиннее и гуще. Шах дремлет. Султан раскладывает пасьянс.

Людовик *(сидящий неподалеку от окна).* В который раз я встречаю весну!.. Вот и опять– появились в небе зеленые просветы… птичьи стаи потянулись на юг… Какое множество птиц!.. И все орлы!..

Мануэль *(продолжая барабанить по стеклу)…* И все двуглавые!..

Отходит от окна, садится в качалку. Молчание. Чуть-чуть громче доносятся звуки музыки. Чувствуется какая-то напряженность в наступившей тишине. Музыка громче и ближе… Все, кроме Людовика, настораживаются, словно угадывая чье-то приближение.

Султан *(потягивая носом, тихо).* В комнате запахло цветами… Словно запах миндаля и лимонов в садах Ильдыза…

Шах. Нет, так пахнут фиалки на склонах Ирана…

Людовик *(с надеждой; слегка приподымаясь в кресле).* Уж не расцветают ли лилии в шелках Бурбонов?..

Мануэль *(медленно, вставая с качалки).* О, этот волнующий… *(Не успевает кончить фразы; замирает в изумлении, схватившись за ручку качалки. То же самое происходит и с остальными.)*

Пламя в камине вспыхивает с необычайной силой, и, сливаясь с ним, из-за скрытой от зрителей половины камина, как ликующий вихрь, под звуки музыки, звучащей уже совсем близко, врывается в комнату прекрасный Гений Весны. Несколько па танца, напоминающего Marche Militaire – и Гений Весны останавливается на противоположном конце комнаты. Свет красного рефлектора, идущего от камина. Монархи жмурятся от света. Каждый из них, чуть отпрянув в сторону, стоит или сидит вполуоборот к Девушке и из-под прикрывающей глаз согнутой ладони боязливо смотрит на нее. Девушка стоит несколько секунд, минуту, неподвижно. В позе – сознание своей красоты, прав на признание и удивление. Чуть откинутая назад прекрасная голова. Музыка звучит почти как достижение, почти как апофеоз.

Девушка

(делает полшага вперед. Успокаивающий величественный жест поднятой руки. Обращаясь к Мануэлю, вооружившемуся хлыстом для верховой езды.)

Не бойтесь, призраки былого!..
Король, оставьте вашу трость…
(Ко всем).
Я не пришла для дела злого.

Монархи *(поочередно).*
Но кто ты! Кто ты?
Странный гость?

Девушка
Я та Весна и та Свобода,
Которой радуется Бог!..
Весна семнадцатого года

И весен будущих залог!..
Над прахом всех отживших мумий,
Соединяя все пути,
Как ветер сладостных безумий,
Ношусь я в пьяном забытьи…
Я разбиваю цепь насилья,
Мечом касаяся слегка.
Мои трепещущие крылья
Во все предчувствуют века!..
Дышала я дурманом хмеля,
Победу славную суля
Войскам Оливера Кромвеля,
Когда он шел на короля…
И это я с Руже де Лилем
Слагала песни до зари,
Когда народ кричал: "Осилим!.."
(Людовик ежится от неприятных воспоминаний.)
И штурмом шел на Тюльери…
В атласной шапочке фригийцев,
Как верный страж, к плечу плечом,
Я во главе гарибальдийцев
Прошла с пылающим мечом…
От склонов дальнего Ирана
(Шах и Султан чувствуют себя неловко)
Я в голубой неслась Босфор,
Свергая каждого тирана,
Что не был свергнут до сих пор.
Одно движенье этих пальцев –
(соответствующий жест)
И трон надежнейший разбит!..
(Иронически, в сторону Мануэля. Мануэль смущенно похлопывает хлыстиком по икрам.)
Сам повелитель португальцев
Мое признанье подтвердит!..
И вот сейчас, когда от скуки
Сидите вы за камельком,
Сложивши царственные руки,
Болтая праздным языком,
Сейчас воскреснула природа –
И вслед за ней лечу и я,
Весна семнадцатого года,
Весна и радость бытия!..
(Решительно, но мягко):
Монархи!.. Встать!.. За мною следом!..

Монархи послушно подымаются, а в конце монолога забавной фалангой вытягиваются за Девушкой. Каждый берет с полки свою корону и держит ее; первым идет, опираясь на жезл, придерживая голову, Людовнк, за ним Султан, Шах и Мануэль– двигаются в сторону, противоположную камину, под торжественные звуки марша.

Я новый край вам покажу…
И вас еще одним соседом

(Короткая пауза)
Для преферанса награжу!..
Прогулку эту совершая,
Вы все усвоите, друзья,
Что, вопреки желаньям края,
Над краем царствовать нельзя…
Здесь ряд картин пройдет пред вами –
(Мануэль, освоившись, делает жест галантности.)
В одной окраске и в иной… Итак, идем!..
Мануэль. Дорогу даме…
Все выстраиваются. Марш.
Девушка. Монархи, в ногу!.. Марш… За мной!..
Занавес

Пьеса поставлена (май 1917 г.) в Новом театре П. В. Кохмановского и встречена сочувственно. "У Дон-Аминадо… вышла великолепная гримаска, в стиле шаржей Ре-Ми (псевдоним художника-каракатуриста "Сатирикона" – Н.В. Ремизова-Васильева – *В. К.)*… Местами… персонажи окутаны дымкою свойственного Дон-Аминадо "неоромантизма", что делает их и особенно выпуклыми, и особенно забавными…" ("Кулисы", 1917, No 20).

В эмиграции Дон-Аминадо продолжил работу над созданием своего театра юмора-пародии-сатиры-кабаре-капустника-карнавала…,и даже обратился к синематографу.

Рассказывает Ирина Одоевцева

В те «баснословные года» литературная жизнь цвела в Париже. Литературные вечера происходили в огромных залах «Сосьете Савант», «Ласказ», в «Плейель» и делали полные сборы.

В 1927 году Дон Аминадо вместе с Тэффи устроили общий вечер в «Плейель».

Тэффи, моложавая, эффектная, в ярко-красном длинном платье, и Дон Аминадо во фраке, подтянуто-элегантный, вели на сцене блестящий юмористический диалог-поединок, стараясь превзойти друг друга в остроумии. Зрители хохотали до изнеможения, до слез, до колик. Хохотали даже над тем, что, казалось бы, не должно было вызывать такой бурной реакции».

Рассказывает Леонид Зуров

<…> На писательском балу в Лютеции энергия Аминада Петровича была особенно сосредоточенна. Он ведал артистической программой, был окружен помощниками и распорядителями, выпускал известных всей России певиц и артисток, представлял их с эстрады толпившейся в зале разгоряченной танцами публике, и казалось неиссякаемым его остроумие.

Залы Лютеции сияют огнями. (далее см. раздел 4).

Без него не обходились заседания по устройству больших вечеров, и в дамских комитетах, куда его всегда приглашали, устроительницы его не только слушали, но и побаивались <…>.

Впрочем, об этом направлении творчества Дон Аминадо лучше других рассказал **Рашит Янгиров(1954-2008),** тонко почувствовавший и атмосферу эмиграции, и дух времени, и природу Дон-Аминадо и его окружения. Потому написанные им статьи так интересны и увлекательны.

Не могу не сказать несколько слов об этом талантливом человеке, исследователе кинематографии и литературы русского зарубежья. Он был на 15 лет младше меня и, казалось бы, рос

в более спокойную, даже слегка расхлябанную эпоху, когда в твое сознание все чаще проникает всякая ерунда, отвлекающая от серьезных занятий. Но есть люди абсолютно целеустремленные, одержимые, призванные оставить след в истории культуры, техники, экономики, пр. К этой категории, несомненно, принадлежал и Р.Янгиров. Он обладал потрясающей архивной хваткой, позволяющей ему находить детали, делающие его публикации и выступления *живыми*. Когда читаешь его текст, кажется, что он был свидетелем или участником того или иного события, о котором рассказывает.

Он рано ушел. Очень рано. Несправедливо рано. Но немало и успел. Я "снимаю шляпу" перед его талантом и с легким и благодарным сердцем передаю ему здесь место и слово.

Наверное, по всем законам жанра, более правильным было бы поместить нижеприведенную статью в Приложении. Но…Патэ-журнал не сохранился, смешных титров, написанных Дон-Аминадо к нему, тоже нет. В таких обстоятельствах мастерский рассказ Рашита Янгирова приобретает самостоятельное значение, вполне заменяет единственный кинофильм Дон Аминадо и по праву занимает место в разделе о его театре юмора.

«ПАТЕ-ЖУРНАЛ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ»

(из книги Рашита Янгирова «Рабы немого»)

Инициатором самого необычного киноопыта, предпринятого для эмигрантской аудитории, был Аминад Шполянский, известный современникам по псевдониму Дон Аминадо. Главным его творческим полем были газетная фельетонистика и литературная пародия – жанры, в которых он, по мнению современницы, нередко «выходил из узкой эпохи и за эмигрантским фольклором различал нечто более обширное». Действительно, главным объектом творческой рефлексии Дон Аминадо был русский Париж, жизнь и быт которого он запечатлел в мельчайших деталях и психологических нюансах. Однако его резонерству было тесно в рамках газетной поденщины, и периодически юморист совершал «контрабандные» вылазки в сопредельные области творчества. Его вела не столько потребность в дополнительном заработке, сколько внутренняя неудовлетворенность, постоянно толкавшая на поиски новых художественных форм и средств. Одной из этих сфер был театр, где Дон Аминадо с неподражаемым вкусом и остроумием травестировал «старшие» искусства. Его «театр для себя», выросший на образцах «Летучей мыши» и «Кривого зеркала», был почти спонтанным актом коллективного творчества, причем участники этих действ в обязательном порядке должны были менять присущие им маски и амплуа. Творческая универсальность не могла не привести Дон Аминадо к кинематографу. Экранным сюжетам он посвятил немало прозаических и стихотворных текстов, не обойдя вниманием и обсуждаемые сюжеты «кинороссики». В этих сочинениях он продемонстрировал живой интерес к кинематографу и тонкое знание его поэтики и социальной функции: *Устав от будничной обузы, Устав от горя, от ума, Пойдем, как добрые французы, За три копейки в синема. Благословение навеки Тебе, испытанный экран! Ты дремой сковываешь веки И краткий длишь самообман.* Некоторые кинематографические сюжеты он камуфлировал под рефлексию «простодушного»: *«Пристали они ко мне и говорят: – Довольно об умном думать, пойдем в синема… Во-первых, говорят, дешево, во-вторых, темно, в-третьих, долго. Уговорили. Пришли, сели, смотрим. Сначала актюалитэ. Животрепещущие события за всю неделю!.. Ловля морских раков у берегов Гренландии. Всемирный съезд любителей аквариумов в Копенгагене. И похороны жертв уличного движения в Амстердаме. Действительно, думаю, Великий Немой. Такие события, а он только то и делает, что мигает. Потом выходит живой галльский петух и кланяется. Публика хлопает».*

О кинематографической практике Дон Аминадо мало что известно, но его экранным дебютом был короткометражный «Пате-журнал русской эмиграции», снятый в конце февраля – начале марта 1928 г. Справедливости ради следует отметить, что претензия автора на то,

что это был «первый фильм из жизни эмиграции», как мы успели убедиться, не соответствовала действительности, зато этой киношутке повезло в другом отношении: в отличие от других опытов история фильма Дон Аминадо была подробно описана русской прессой Парижа. Для того чтобы оценить смысловые нюансы этого экранного опуса, следует обратиться к культурно-историческому контексту времени.

Как уже было сказано, костюмированные балы и всевозможные артистические акции, устраиваемые под эгидой различных общественно-политических, национальных и творческих групп и объединений, были чрезвычайно популярны в русском Париже 1920-1930-х гг. Эта колоритная практика была воспроизведена одним из ее активных участников при описании новогоднего бала в зале «Лютеция»: «Он (Воронин – один из героев романа. – Р.Я.) приподнялся, отдавая поклон невысокому, с гордо поднятой головой и тонким смуглым профилем, худощавому господину, шедшему под руку с полноватой красивой дамой с белыми напудренными волосами. Нагнувшись к Лиде, Воронин прошептал: – Знаете, кто это? Бунин с женой! А вот дальше, в той группе, у буфета, видите маленького с бородкой? Мережковский! Как он жарко спорит с этим бледным брюнетом! Да ведь это Алданов! А рядом с ним горбатенький, с выпуклыми очками, да кто его сюда привел? Он никогда не выходит из дому – Ремизов! Запомни, Лида, эти лица! Запомните, господа, что сегодня вы видели их здесь, в Париже, будет о чем рассказывать потом вашим детям, вашим внукам…» Этот же популярный у эмигрантов зал описал и сам Дон Аминадо: *Люблю «Лютеции» просторной Сей исторический подъезд,*
Два фонаря средь ночи черной, Толпы, обычаю покорной, После одиннадцати съезд… Тех зал «Лютеции», где нам Хоть в тесноте, да не в обиде, Обещан в самом лучшем виде Неописуемый Сезам!.. Да будет так. Несутся годы. Туманна даль. И нет пути. «Мы все сойдем под вечны своды…» Но только прежде чем сойти, Сойдем, друзья, под своды эти, Где вечность длится только миг, Но где, как вы, и я постиг, Что много вечностей на свете!..

Все эти акции затевались исключительно с благотворительными целями, однако их частота подчас превосходила разумные пределы и становилась фельетонной темой. Однажды Дон Аминадо спародировал деловое расписание русского парижанина: *«Файф-оклок уроженцев Военно-Грузинской дороги. Банкет в пользу пострадавших от аппендицита в Чехословакии. Бал в пользу зародышей югославянского происхождения. Бал-карнавал похоронной кассы взаимопомощи и выбор мумии русской колонии на целый год. Традиционный бал общества ревнителей голландского отопления, общедоступный буфет и кабаре»*.

По неписаной иерархии самыми престижными вечерами в русском Париже считались празднование русского Нового года, отмечавшегося по старому календарю, 13 января (его традиционно проводил Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции), и весенний Бал прессы, даты которого приурочивались к окончанию Великого поста. Гвоздем программы новогоднего бала в январе 1928 г., например, было «первое и последнее» представление пантомимы-балета «Чудовищная мамка, или Неожиданный конь», сочиненной Тэффи при участии Дон Аминадо, А. Куприна, Б. Зайцева, А. Яблоновского, Н. Берберовой, И. Сургучева, Г. Иванова, Е. Рощиной-Инсаровой и др. Шумный успех, выпавший на долю этой сценической пародии, вдохновил создателей на поиски новой оригинальной художественной формы к предстоящему Балу прессы. Неожиданной подсказкой стала кинематографическая «злоба дня» – германский фильм «Тоска по родине», затронувший, как мы видели, патриотические чувства русских зрителей. «Профессиональному оптимисту» Дон Аминадо захотелось переиграть минорную тональность картины и оспорить мизерабельность ее героев. Самым адекватным ответом на этот творческий вызов было создание экранной панорамы русского Парижа, причем ее документализм засвидетельствовал бы перед зрителем «жизнь, как она есть». По большому счету, для реализации этого замысла не требовались какие-либо драматургические приемы: хроникальный жанр ♦ «МАМА! И ВСЕ ЭТО РУССКИЕ…» в его классическом образце «Пате-журнал» существовал еще с начала века и был хорошо знаком зрителям всего

мира. Прием хроники был привлекателен автору тем более, что в газетной практике он активно использовал его клише для «каталогизации» злободневных событий и готов был конвертировать свое умение визуализации. Свой опыт организатора киносъемок он иронически описал в специальном фельетоне: *«– Вы думаете, что все это просто? Нанимается зал, нанимается джаз, ставится контролер у входа, и кончено. Публика идет, контролер ее щелкает, джаз играет, штандарт скачет, и все довольны? Да? Так вы думаете? Нет же, милостивый государь, нет, нет и нет!.. И ответственный распорядитель с мясом вырвал из меня пуговицу, за которую он перед тем подсознательно ухватился. Затем зажал меня в угол и, задыхаясь и сам себя на каждом слове перебивая, так сразу всю свою душу мне и выложил: – Буду краток! Умолчу о стороне вокальной, о стороне музыкальной, о стороне танцевальной. Это все, Бог помог, устроилось. Не без истерик, пневматичек, телефонов, не без заседания, прилежания и поведения, но устроилось. Программа – первый сорт и что ни человек, то "ведетта". Такой блеск, такие имена, что всю эмиграцию сверху донизу переройте, лучше не найдете. Одним словом, созвездие! Черная, европейская ночь – и крупные, мохнатые, русские звезды!.. Но… но… захотелось нам такое завинтить, закрутить, запустить, зажарить… чтоб зритель не то что там… удивился, руками развел или, скажем, рот раскрыл… а чтобы его прямо-таки наизнанку вывернуло… от восторга. И придумали! Фильм! Из жизни русской эмиграции, и первый раз в здешнем городе. То есть не то что там "Ностальжи"* или обычную их клюкву, соус-пикан, а настоящий, честный фильм с явными, подлинными благополучно действующими лицами, живой натюрморт без всякой примеси!.. Нашли пленку, нашли аппарат, намотали пленку на аппарат, собрали человек сто, намотали их через этот аппарат на пленку, вымотали их из аппарата обратно, промыли пленку, отпечатали, подписали, стерли фуляром лысину и сели в кружок радоваться… Радуемся это мы час, радуемся два, радуемся три, как вдруг… телефон!.. – Спрячьте ваш фильм в боковой карман, ничего не выйдет!.. – Как ничего не выйдет?! – Так ничего не выйдет, потому что пожар. _ Конечно, всеобщий обморок, катастрофа и летаргический сон всех распорядителей вместе. Берем карету скорой помощи и едем. Приезжаем куда надо, объясняемся: – Ради Бога, не губите во цвете лет… революции в эмиграции! Отвечают: – Регрет боку*, должны погубить. Полное нарушение всех правил пожара!.. – Так что же нам делать?! – Залить водой весь зал "Лютеции", чтоб у зрителя только голова торчала!.. – Тогда, стало быть, разрешите? – Тогда разрешим!.. Имеется в виду фильм «Тоска по родине*. ** Regrete beaucoup – весьма сожалею (фр.). «РА БЫ Н Е М О Г О – Гм… а нельзя ли что-нибудь скинуть… чтоб вода только до талии, а полкорпуса в сухом виде? Одним словом, что я вам буду все подробности перечислять!.. Торговались мы часа полтора, не менее, Льва Николаевича Толстого в свидетели приводили, сто карт д'иданитэ горкой навалили, до того в собственную грудь стучали, что потом сутки отдышаться не могли, но… своего добились!.. – Два ведра у входа в зал, два у выхода, и чтоб конферансье в ванне сидел, и оттуда и конферировал!!! А вы думаете, что все это так просто – зал, джаз, контроль, публика… И ответственный распорядитель вырвал из меня вторую пуговицу, и тоже с мясом».*

В реальности все, видимо, обстояло и проще, и сложнее. Пользуясь дружескими отношениями с кинематографистами-соотечественниками, Дон Аминадо сумел организовать съемки быстро и с минимальными затратами. К режиссуре он привлек признанного мастера экрана Вячеслава Туржанского, а также Николая Евреинова. По-видимому, выбор этого кандидата был предопределен не только общностью кабаретных вкусов и привязанностей, но и интересом театрального режиссера к кинематографу, проявившимся именно в то время. Имя Евреинова публично не оглашалось, и нежелание его афишировать было, очевидно, обусловлено договорными обязательствами, не допускавшими участия в параллельных съемках. Первоначально фильм задумывался как некая виньетка, забавный аттракцион для оживления общей драматургии бала. Однако череда трагических событий, происшедших в русском Париже накануне,

скорректировала этот план: в ночь на 24 февраля покончила с собой поэтесса и переводчица Н. Петровская, а через день свел счеты с жизнью бывший петербургский юрист А. Берлин; накануне бала, вечером 14 марта, в салоне таксомотора застрелился еще один видный член эмигрантской колонии И. Бадаль. Эти события произвели тягостное впечатление на многих и не могли пройти мимо внимания организаторов бала. Оставив на время привычные межпартийные распри, лидеры разных лагерей решили хотя бы на один вечер продемонстрировать миру единство и сплоченность эмиграции. Сообразно этой установке изменилась и композиция «Пате-журнала» – автор ввел в него еще один эпизод, репрезентировавший невероятное примирение: инсценированную шахматную партию между П.Н. Милюковым и П.Б. Струве в присутствии реферировавшего ее чемпиона мира А.А. Алехина. Как оказалось, именно эта сцена произвела большое впечатление на аудиторию и стала смысловым контрапунктом всего фильма, оставшимся в памяти современников.

Первые анонсы о задуманной кинопостановке появились уже в начале февраля: «Одним из “гвоздей” предстоящего бала прессы 15 марта (в день Ми-Карем (*день французского полупоста, когда нет уже сил укрощать плоть и можно с радостью и без оглядки нарушить строгий 40-дневный пост – В.Т*) явится демонстрация первого настоящего фильма из подлинной (а не выдуманной) жизни русской эмиграции в Париже. В картине будут воспроизведены живые лица из мира писательского, театрального, синематографического и т.д. и показаны различные, наиболее характерные сценки из быта разных кругов русской колонии в Париже. Заключительные массовые сцены будут дополнительно зафильмованы на самом балу. Осуществление этой нелегкой (и технически, и материально) задачи любезно взяли на себя директор-распорядитель “Лиано-фильм” Л.С. Гарганов и известный кинооператор студии “Альбатрос” Н.П. Рудаков».

Через месяц кинозамысел обрел реальные черты – после того как в нем приняли участие виднейшие представители русского Парижа: «В прошлую пятницу у ворот Сен Клу можно было заметить какое-то необычное движение. Из метро выходили десятки русских эмигрантов и, порасспросив толком углового ажана, торопливо направлялись в сторону Бийянкура. Эмигранты шли разные, всех возрастов и политических оттенков, так что сначала даже нельзя было понять, что, собственно, влечет их всех в одно и то же место. Рядом с детишками из балетной школы равнодушно выступал П.Б. Струве, мирно беседуя с П.Н. Милюковым. И.А. Бунин идти пешком отказался и взял такси. Загородная прогулка, видимо, была предпринята серьезная: особенно запасливые люди прихватили с собой пакеты с едой. Пахло ветчиной, сыром, пирожками. Настроение у всех было превосходное. Весеннее солнце пригревало основательно, лужицы почти совсем просохли, и Дон Аминадо на ходу уверял, что при известной доле оптимизма жизнь кажется невыразимо прекрасной. Некоторые, впрочем, слегка конфузились. Лев Шестов непрестанно поправлял на голове котиковую круглую шапочку и беспокойно спрашивал, будут ли его гримировать, как всех. Тут, пожалуй, будет уместно сказать, что в тот день в Бийянкуре должны были крутить необыкновенный фильм “Русский Париж”. Артисты подобрались случайные, но не без таланта: Бунин, Милюков, Струве, Алданов, Бор. Зайцев, Шестов, Малявин, Билибин, Алехин. Съемки должны были начаться в 4 часа, но, как водится, до 6 сидели сложа руки. Во дворе киностудии каждый коротал время по-своему. В.Ф. Зеелер рассказывал Вишняку, С.Л. Полякову-Литовцеву, Георгию Иванову, Познеру и Сургучеву уморительные анекдоты; Рощина-Инсарова рассматривала в лорнет кн. С.М. Волконского; Борис Лазаревский с поэтом Горянским организовывал экспедицию в соседнее бистро; Дон Аминадо нервничал; П.Н. Милюков занимал Нагродскую и Даманскую; кто-то пустил слух, что Ремизов с утра забился в угол и решил из дому не выходить; боится сниматься… Любители сильных ощущений пробрались в студию посмотреть, как крутят какую-то французскую комедию. В студии жара, ослепительный свет рефлекторов, буржуазная квартира из картона и несколько артистов на переднем плане; артисты делают вид, что им адски весело. Для настроения за стеной хрипит граммофон, режиссер проклинает час, когда он задумал крутить

эту пьесу, рвет на себе волосы и требует начать все сначала. При этом у него делается зверское лицо: – Внимание! Крутим!.. Стоп! У артистов разом исчезает веселье. Лампы гаснут. Кинооператор в изнеможении бросается в кресло. Через минуту он снова рычит на сцену: – Внимание… Крутим!.. Опрокидывайте вазу с фруктами… Так, веселее!.. Стоп…

Наконец наступает очередь русских. Туржанский приглашает всех гримироваться. Протесты. “Нельзя ли без грима?” Оказывается, нельзя. Саша Черный покорно усаживается в операционное кресло и через две минуты превращается в подозрительного молодого человека с яркими губами и подведенными глазами. Струве, густо посыпанный пудрой, уныло бормочет: – Только бы меня не загримировали под Милюкова! П.Н. Милюков, всегда спокойный, попадает сначала в руки Галины Кузнецовой, накладывающей розовый грим, а потом и к Туржанскому. Впрочем, уходит он из гримировочной лишь с небольшими повреждениями. Дамы накладывают грим самостоятельно – оказывается, это нетрудно. Наконец все гурьбой переходят в студию, где уже хлопочут директор “Лиано-фильм” Л.С. Гарганов, М.И. Фельдман и кинооператор Н.П. Рудаков. Сцена первая: инженер Махонин читает доклад по поводу изобретенного им карбуранта. Махонин – очень молодой человек, смущенно улыбаясь, выходит на середину сцены и начинает доклад: – Я очень рад, господа, что вы позволили мне сниматься первым, так как я спешу… и, вообще, не знаю о чем говорить, ради Бога, скажите, не довольно ли?.. – Стоп! Превосходно! Спасибо, Иван Иваныч. Следующий номер: русский шофер. Шофер принимается починять такси. – Балет. На сцене прелестные детишки в розовых и белых платьях. Начинается балет. Мамы, папы, сестры юных балерин с волнением следят за съемкой. “Ах, у Верочки развязался бант…”, “Надюша, смотри на аппарат…” – Не смотрите в аппарат, – волнуется Рудаков, – смотрите в публику. Отставить! Сначала… Внимание, крутим! – Писатели, на сцену! Объединенное заседание Союза писателей и журналистов и Общества помощи писателям и ученым. П.Н. Милюков занимает председательское место. Все остальные рассаживаются по сторонам. Рабочие в синих блузах сдвигают со всех сторон рефлекторы, и от их жара у стола становится трудно сидеть. – Внимание, крутим!.. П.Н. Милюков объявляет заседание открытым… Так, превосходно… Александр Яблоновский передает ему документы… Больше движения, господа… Бунин требует слова… И.А. Бунин совещается с сидящим рядом Струве и затем торжественно встает: – Из дальних странствий воротясь, какой-то дворянин, а может быть, и князь… Туржанский выходит из себя: – Так, правильно!.. Аплодируйте!.. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. – Стоп. Превосходно. Новая сцена: члены правления являются поодиночке на заседание. Уберите стол. Стол исчезает. Перегруппировка рефлекторов. Н.П. Рудаков начинает крутить. Милюков и Струве играют в шахматы. Арбитр Алехин признал, что партия окончена вничью. П.П. Гронский читает лекцию во Франко-Русском институте, перенесенном на пять минут в Бийянкур. Е.Н. Рощина-Инсарова показала “ам слав”* – как ее понимают * Ame slave – славянская душа (фр.). Перечислить все номера, снятые для фильма, – нет возможности. И так – до поздней ночи. Откуда-то является кавказский духан, потом снимается Алехин, потом по сцене прохаживается русская манекенша, потом демонстрируются беженские домашние животные… Перечислить все, что было снято в эту ночь в Бийянкурской студии, нельзя. А для того чтобы посмотреть готовый фильм “Русский Париж на экране” – надо пойти на бал писателей и журналистов 15 марта в залах “Лютеция”».

Уже на следующий день в том же издании была напечатана программа бала, открывавшаяся интригующим фильмовым сюжетом: «Первый фильм из жизни русского Парижа – “Пате-журнал русской эмиграции”! Увеселительная его часть пройдет под знаком франко-русского карнавала. “Чайный трактир с дворянскою половиною”… “Ярмарочный тир с премиями за стрельбу”… Тиром заведуют А.И. Куприн и А. Черный. “Русские горы и народные катанья сверху вниз”… Сбрасывать с гор (сверху вниз) будут Борис Зайцев, Дон Аминадо и отряд волонтеров из чуткой молодежи. Костюмы и маски на балу не обязательны, но желательны. Вся церемониальная часть котильона – в опытных женских руках. Сделаны огромные

запасы шаров, шариков, шарикоподшипников, бомб (неразрывающихся), живых цветов, ползучих растений, вееров, колпаков, погремушек – словом, всего, что полагается. Два джаза, три буфета, новая вентиляция, полное отсутствие духоты, тесноты, давки и танцы до утра. Запасайтесь билетами, не откладывайте на последний день!» Через два дня появилось новое сообщение: «Вчера фильм “Пате-журнал русской эмиграции” закончен. Последним звеном явилась съемка, произведенная на рю Даниэль. В самый разгар игр, кошек-мышек, лепок, рисований и проч. был снят “Детский сад” Земгора в присутствии К.Р. Кровопускова и педагогического персонала. Неутомимый Н.П. Рудаков с помощником своим Дон Аминадо целиком испытал на себе результаты физического воспитания русских детей на свежем воздухе… Свалка была отчаянная, но аппарат и дирекция на этот раз уцелели. Негатив отдан в “Лиано-фильм”, где заботами Л.С. Гарганова будет приведен в “боевую готовность” и показан на балу».

В этот же день появился новый анонс: «15 марта в “Лютеции” состоится бал Союза писателей и журналистов. Гвоздем его является специально поставленный и исполненный в студии Бийанкура фильм “Русский Париж” с участием писателей, художников, артистов и т.д.» Усилиями организаторов бала интрига вокруг обещанной кинопремьеры нарастала с каждым днем: «Благодаря любезному содействию г. М. Фельдмана (директор студии Бийянкур), Л.С. Гарганова (директор “Лиано-фильм”) и при самоотверженной поддержке оператора Н.П. Рудакова, артиста В.К. Туржанского, художника Пименова и одного из выдающихся русских режиссеров (пожелавшего остаться неизвестным) – работы по изготовлению специального фильма для Бала прессы благополучно заканчиваются, несмотря на необходимость спешки и ряд значительных технических трудностей».

В преддверии назначенной даты русские газеты изо дня в день напоминали читателям об ожидающем их аттракционе: «Грандиозный фильм “Париж русской эмиграции”. Четыре буфета: доступный, недоступный, общедоступный и с отступными. Бой цветов. Котильон с сюрпризами. Карнавальное шествие. Танцы до утра. Вентиляция тоже. Бульвар Распай. Отель “Лютеция”. Ми-Карем, четверг». «15 марта в “Лютеции” состоится Бал Союза писателей и журналистов. Гвоздем его является специально составленный и исполненный в студии Бийанкура фильм “Русский Париж” с участием писателей, художников, артистов и т.д.» За день до премьеры появилось сообщение, что «фильм “Париж русской эмиграции” закончен и благодаря любезному и энергичному содействию известного синематографического деятеля Л.М. Сирочкина появится на экране в первый и в последний раз на Балу прессы 15 марта в “Лютеции”. Наконец читателям стали известны имена создателей экранного сюрприза: «“Лиано-фильм” в лице Л.С. Гарганова предоставил пленку, проявил ее и отпечатал. Директор студии Бийанкура г. М. Фельдман дал студию, прожектора, техников. Н.П. Рудаков снимал, резал, клеил. Режиссер *** ставил. Влад Туржанский (В. Тур) гримировал. Художник Пименов декорировал. Энергичный Л.М. Сирочкин доставил все остальное. Наперекор стихиям, фильм появится на экране сегодня, 15 марта. Начало ровно в 10 ».

Фабула картины восстанавливается по конспекту сценария или, скорее, списку надписей фильма, сохранившемуся в нью-йоркской части архива юмориста, и заслуживает воспроизведения целиком: «Борис Зайцев и Дон Аминадо срочно ругают неприехавшего Осоргина и самоотверженно кидаются в конферанс. Русский спорт за границей. Будущая опора отечества играет в баскет-болл. Потрясающая победа подрастающего подростка гимназиста Бурышкина! Классическая борьба двух юношей, захватывающих дух друг у друга… Бокс! К.К. Парчевский от имени Союза журналистов поздравляет вспотевшего победителя. Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Русский футбол на окраине Парижа. "Детский сад " Земгора на улице Даниэль. Дети играют в кошку-мышку. Водят хоровод. Дети сваливают с ног К.Р. Кровопускова. “Краса и гордость русской эмиграции”. “Одушевленный предмет первой необходимости”… – Лабинский у рояля, или У рояля Лабинский!!! Завоевания эмиграции в области детских ног! Балетная школа Л.Р. Нестеровской. “…И какой же русский не любит быстрой езды!..”

– Русский такси чинит шасси… – Долой униформу! да здравствует смокинг! – Шоффер на балу!.. Русский труд за границей. – Первая и вторая руки. “Семь раз отмерь, один раз эмигрируй!..” “В шитье обретешь ты право свое!..” “Одно из славных русских лиц”, или Модель от Пакена. Талия – 44! Нога – 37! Мировой матч Алехина с Капабланкой. – Проигрыш Капабланки спиной к публике!* Ате Slave как таковая! – Сильно драматическая при участии Е.Н. Рощиной-Инсаровой. – “Самовар фирмы бр. Балашевых. Тула”. У рояля Лабинский. Гениальный русский изобретатель Иван Иванович Махонин. – Махонин читает лекцию о своем карбюранте. Товар лицом! Или Франко-Русский институт в Париже. – Чуткая молодежь слушает лекцию проф. П.П. Гронского. Русские писатели в изгнании. – П.Б. Струве и Л.И. Шестов опаздывают на заседание… – И.А. Бунин непринужденно здоровается с членами правления… – Соединенное заседание Союза журналистов и Комитета писателей и ученых под председательством П.Н. Милюкова. “Объявляю заседание открытым…” “Слово принадлежит Бунину!..” – Речь имела успех… Животные в эмиграции. – Сибирский кот и лягавая во французское подданство не переходят… – У рояля Лабинский. После победы Алехина. – Е.А. Зноско-Боровский покрывает мужскими поцелуями смущенное лицо чемпиона. Редкий снимок! – Научно-видовая! Надо видеть, чтобы верить! – П.Н. Милюков и П.Б. Струве мирно играют в шахматы…– А.А. Алехин – в качестве арбитра. – На этот раз игра кончается вничью… Подарок судьбы, или Нансеновский паспорт! – Доктор Нансен очень доволен…– Моментальная паспортная фотография средне-каторжного типа. “Спокойно! Снимаю!” – Мерси!.. * На полях авторская приписка: ♦Конфер*. «РА БЫ Н Е М О Г О » “Человек, который убил…” “Проходящая масть…” “Негатив подрастающего поколения…” “Первый паспорт: – Я большая!..” Дирекция благодарит почтеннейшую публику за посещение».

Обстановка бала, детали премьерного показа и его восприятие зрителями были достаточно подробно описаны в газетных отчетах: «Второй и последний в этом году Бал прессы прошел с исключительным успехом. К 10 час вечера в верхнем зале “Лютеции” не было уже ни одного свободного места. Входившие в зал удивленно останавливались перед необычным для эмигрантских балов нововведением: кинематографическая будка и экран. У будки с видом заговорщиков хлопотали директор “Лиано-фильм” Л.С. Гарганов, кинооператор Н.П. Рудаков, Л.М. Сирочкин. Когда во втором отделении в зале воцарилась темнота, а на экране появился “Пате-журнал русской эмиграции” – раздались дружные аплодисменты. Сколько лет не приходилось читать на фильме русских надписей. Каждая картина, каждая надпись вызывали в зале бурное веселье. Заседание Союза писателей и журналистов… Струве и Шестов по обыкновению запаздывают… И.А. Бунин входит и “непринужденно” здоровается с членами правления. Струве, оказывается, необыкновенно “фотоженичен”. Махонин читает лекцию о карбуранте, и публика бурно приветствует русского изобретателя. Матч Алехина с Капабланкой. Капабланка сидит спиной к публике; видна только пробивающаяся лысина. Алехин торжествует и объявляет “мат” Капабланке, сползающему со стула в изнеможении… Е.Н. Рощина-Инсарова доказала публике, что даже с небольшими средствами можно достигнуть “ам слав” и понять русскую “ностальгию”. Шахматный турнир между П.Н. Милюковым и П.Б. Струве закончился, ко всеобщему удовлетворению, вничью. Даже доктор Нансен встречен был публикой, в общем, дружелюбно. Когда на прощанье появились “конферансье” Б.К. Зайцев и Дон Аминадо – зал был в восторге. Первый фильм из жизни русской эмиграции удался превосходно. Затем в трех залах, в баре и трех буфетах началось так называемое дружеское общение. Загремели джаз-банды, сотни ног принялись добросовестно за чарльстон. Н.А. Тэффи в упоении кружилась в вальсе. Саша Черный и Александр Яблоновский открыли тир, бойко заряжая пистолеты. В.Н. Бунина и А.О. Голобородько продавали беспроигрышные лотерейные билеты. В 2 ч ночи, после премьеры, прямо из театра приехали “художественники”. В артистической начались тосты и взаимное чествование. Уже было совсем светло, уже подметали и поливали

улицы, в сторону центрального рынка с грохотом катили повозки с зеленью, а в “Лютеции” все еще гремела музыка».

Автору другого описания фильм понравился идеологической толерантностью и юмором его автора: «Бал был веселый, яркий, очень удачный… Чуть ли не до 12 часов ночи шла артистическая программа – сплошь интересная, разнообразная, живая. Но главной приманкой, что называется, гвоздем бала был эмигрантский кинематограф с остроумными надписями Дон Аминадо. Когда публика увидела П.Н. Милюкова и П.Б. Струве, мирно играющих в шахматы под руководством “короля” Алехина, – в зале послышались аплодисменты, хохот и крики: – Давно бы так! Помирились! Это был самый удачный “трюк”, если можно говорить о “трюке” применительно к П.Н. Милюкову и П.Б. Струве. Но очень интересны были и другие снимки. – Русские шоферы, русские дети, русские студенты и курсистки. Из знаменитостей, стоящих вне литературы, показаны были г-жа Рощина-Инсарова и гг. Алехин и инж. Махонин. Публика много смеялась и долго аплодировала г. Дон Аминадо как автору веселых надписей и “заведующему неприятностями” по устройству бала».

Подобно другим, аналогичным опытам, «Пате-журнал русской эмиграции» был продуктом «одноразового» употребления: насколько нам известно, он никогда и нигде более не демонстрировался, за исключением единственного благотворительного сеанса в пользу больных и нуждающихся студентов, устроенного через несколько дней после премьеры. Сам Дон Аминадо, очевидно, немало гордился своим детищем и много лет спустя напомнил о нем читателям в книге воспоминаний. Годы нацистской оккупации Франции он провел в маленьком городке Экс-ле-Бэне в Савойских Альпах и подолгу беседовал с П.Н. Милюковым, жившим по соседству, вспоминая людей и события «золотого века» русского Парижа. Однажды собеседники «стали перебирать всякие пустяки. Вспомнили и знаменитый единственный эмигрантский фильм, показанный на писательском балу в “Лютеции”. – А помните, как вы меня загримировали Фритьофом Нансеном? – Как же не помнить? А помните вы, Павел Николаевич, как мы вас усадили за шахматной доской с Петром Струве, а Алехин изображал арбитра и с какой поразительной самоотверженностью вы отдавали себя на полное растерзание художникам, техникам, поставщикам, и в особенности главному режиссеру Н.Н. Евреинову? – Да, все это было чрезвычайно удачно задумано и сделано, а главное, все были моложе, моложе… Какая-то спокойная грусть прозвучала в его голосе».



Фотография эпизода фильма «Пате–журнал русской эмиграции»: «За столом слева направо сидят: В.Ф. Ходасевич и Н.Н. Берберова, М. Цетлин, А.Ф. Даманская, М.А. Алданов, по-видимому, о чем-то оживленно говорит с Б.К. Зайцевым, а над ним склонилась Галина Кузнецова. Рядом с П.Н. Милюковым, в характерной для него позе, делающим доклад, новая пара собеседников — А.А. Яблоновский и И.А. Бунин. П.Б. Струве углубился в заметки. Кажется, он готовит свой ядовитый ответ П.Н. Милюкову. Еще дальше Лев Шестов и, наконец, крайняя справа — Ирина Одоевцева. Сзади — во втором ряду — не меньше имен и известностей. Крайний слева — Б.А. Лазаревский. Дальше В.Ф. Зеелер и душа и организатор этой съемки Дон Аминадо. Рядом с ним М.В. Вишняк, Е.А. Зноско-Зборовский, П.П. Гронский и М.П. Миронов. Далее — М.А. Струве, Валентин Горянский, кн. С.М. Волконский, Георгий Иванов и Я. Цивбак. За ним — С.Л. Поляков–Литовцев, К.К. Парчевский, К.И. Зайцев и С. Познер». Бийанкурская киностудия. 2 марта 1928. (Иллюстрированная Россия (Париж). 1928. № 16)

СУД НАД РУССКОЙ ЭМИГРАЦИЕЙ

Юмористический сценарий в трех действиях, но без политики

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

21-го декабря 1919 г. в 12 час. 35 мин. пополудни в Париж, к постовому ажану, стоявшему против здания Большой Оперы, подошел неизвестный, средне одетый господин с полуиспуганным, полу-недоумевающим выражением небритого лица, с неопределенностью во всей фигуре.

В одной руке господин держал небольшой карманный словарь типа Гарнье, подходящим названием «10.000 слов в минуту», в другой – план города Парижа, ценою в один франк. За господином гуськом тянулась какая-то женская фигура, в зеленоватой шляпке типа какаду, в небрежно свисавшем боа, типа собаки, и в ботиках. На предварительном следствии удалось, между прочим, с незыблемостью установить, что незабываемое впечатление произвели на ажана именно ботики. Но, с детства воспитанный на декларации прав человека и гражданина, ажан, конечно, бровью не моргнул и даже с некоторым участием посмотрел на неизвестного и его даму. «Скажи ж ему что-нибудь, а то он нас еще арестует!.. Стал, как истукан, и слова сказать не может!..». Хотя все это было произнесено скороговоркой с шипением, и притом на языке, который во французских лицеях обязательным в то время еще не считался, ажан, однако, немедленно сообразил, что люди эти соединены между собою таинством брака, и притом на всю жизнь. Догадка его сейчас же полностью подтвердилась, так как уступая изгнета-

тельному напору своей половины, господин спокойно полез за словом в карман и, торопливо перелистав несколько страниц сразу, с невероятным блеском, выразил свою выстраданную в течение веков мысль: «Силь ву пле… муа… буар э манже…па шер!..»1. Ажан задумался. По его открытому, гладко вы бритому лицу пробежали какие-то странные тени. Не то это были тени Великой Французской революции, такой, какой ее себе представляют ажаны, не то это было нечто из совершенно другой оперы, но во всяком случае не той, насупротив которой происходила описываемая сцена. Чем кончился этот первый исторический разговор между блюстителем французского порядка и жертвами российского переворота, на предварительном следствии выяснить не удалось. Известно только то, что каких-нибудь три или четыре недели спустя несчастные постовые ажаны

буквально сбились с ног!.. Беженцы валили толпами, и так как главным образом это были сливки интеллигенции, то, конечно, рисковать своей жизнью они ни в коем случае не хотели, почему их и приходилось брать за руку и, останавливая все уличное движение, переводить на другую сторону.

Кроме того, они все до одного были до такой степени любознательны, что городовые прямо волком взвыли. Все их интересовало, и все надо было узнать сейчас же, и до мельчайших подробностей. И как проехать из Галлери Лафайет на могилу Наполеона без пересадки? И почему в Париже нет адресного стола, как в Саратове? И где находится специальное бюро труда для беженцев из Ташкента? И почему здешний ломбард не признает 56-й пробы для золота и 84-й для серебра? И что стояло на месте Эйфелевой башни до Эйфеля? И так далее, и так далее. А тут еще параллельно началась у них вакханалия с визами, документами, с метрическими свидетельствами, паспортами. И если хозяева оказались несомненно гостеприимными, то и гости показали себя в высшей степени хлебосолами. Оказалось, что каждый беженец имеет до пяти паспортов минимум, не считая трех-четырех запасных, или собственноручных. Так называемый царский, с гербом. Временного правительства, со штемпелем. Гетманский, с булавой. Петлюровский, с трезубом. И розовое «ресеписсе»2: на промокательной бумаге, из Константинополя. И что было всего поразительнее, это то, что каждый порядочный беженец считал своим неотъемлемым правом проживать по всем пяти паспортам сразу, совершенно не считаясь с законами страны, с государственным и установлениям и, с республикой, с конституцией. Придет в комиссариат – царский паспорт показывает. Придет на роз1е-гез ап1е3 письма получать – германский вынимает. Вздумается ему, неизвестно для чего, о транзитной визе в Бразилию хлопотать, он, без малейшего колебания, трезуб вытаскивает. Европа от удивления разинула рот. Что за странные люди? Что за характеры, нравы, обычай? Куда и какая нечистая сила носит их по всему земному шару, перебрасывая с места на место? Какая историческая лихорадка трясет их с утра до вечера? Куда они идут, бегут, спешат, торопятся? Сегодня они в Константинополе, завтра в Висбадене, через месяц где-то в чехословацком Брно хлопотливо готовятся к отъезду в Аргентину, а глядишь, не успели доехать, уже прут обратно и с безумной радостью выгружаются на Gare St.Lasare4 с детьми, чайниками, с бабушками, путеводителями и, перебивая друг друга междометиями и восклицаниями, кричат наперебой и все разом: «Ах, как мы соскучились по Елисейским полям! Нам на каждом шагу не хватало Эйфелевой башни! Разве можно жить без Лувра, без Люксембурга, без Венеры Милосской, без Галлери Лафайет?» И тут же скопом набиваются в такси, мчатся на всех парах, в две минуты снимают комфорт модерн, немедленно завешивают фотографиями стены, открывают краны, пробуют, как бежит вода, покупают охотничьих сосисок и неизбежной «Зубровки», и уже через полчаса справляют новоселье, чокаясь друг с другом за прошлое, будущее и настоящее, а в три часа утра беспомощно толкутся у выходной двери, нажимая все кнопки по очереди, хором крича cord o n s.v .p .5 – эту историческую ошибку всех эмиграций.

Проходит несколько лет. И что же мы видим? В самом центре Европы, на глазах у изумленного населения, в двух минутах ходьбы от конной статуи Генриха IV, на извилистых бере-

гах совершенно посторонней Сены, на больших парижских бульварах, по которым еще недавно ходили Эмиль Золя и Сара Бернар… возникает совершенно новое, неслыханное, непредвиденное, самостоятельное государство! Непонятная держава с двумя столицами, со всеми своими 52 губерниями, уездами, станицами, местечками, дачными поселками и пригородами. Как грибы из-под земли, появляются: русский клуб с танцами, воскресная школа для стремящихся девочек, ресторан «Душечка» с кулебякой и куплетами, заочные курсы для выжигания по дереву, объединение бывших воспитанников мореходных классов, три совершенно автономных бессарабских землячества, мужской и дамский портной в рассрочку, с полсотни политических партий и один детский сад с площадкой Песталоцци. В смысле политического строя это не монархия и не республика, – а, так сказать, кооператив. Население в этом кооперативе упрямое, непокорное, своенравное. Живет оно само по себе. Разговаривает только по-русски, питается сплошными борщами, никаких потажей и консомеб не признает, переписывается исключительно пневматичками7, разговаривает в метро так громко, что туземцы испуганно шарахаются в сторону, развязно целует дамам руки, к вящему удивлению галльских племен, ездит друг к другу на огонек с тремя пересадками, ключи, вместо того, чтобы класть в карман, кладет под коврик, а ночью, бродят толпами по пляс де ля Конкорд, вдруг останавливается против Лукзорского обелиска и хором поет: «Волга, Волга, мать родная, Волга матушка река, не видала ты подарка от донского казака».

Следствие, которое велось с неослабевающей энергией в течение целых десяти лет и к которому были привлечены лучшие эксперты и специалисты по вопросам эмигрантской жизни, пришло к заключению: эмиграция оккупировала Европу!

Действительно, что видим мы вокруг себя? В кинематографе – русские фильмы, в театре – русские пьесы, в Салоне – русские картины, в библиотеках – русские авторы, в кутюрах8 – русские женщины, в шоферах – русские мужчины, – это ли не нарушение всероссийской тишины? Но этого мало. Эмиграция повинна в том, что она завалила мир ватрушками и оглушила его «Дубинушкой». Она повинна в диспутах до последнего метро и в танцах до первого метро, в волнующих газетных объявлениях «Бобик, вернись»9, в игре в бридж, близкой к помешательству, в создании единственного в мире явления – настоящего, уездного русского города на иностранной территории… в создании – Бианкура!10

На основании вышеизложенного русская эмиграция обвиняется.

В том, что, выехав за пределы родной страны, она обнаружила неслыханную непоседливость, злостную многопаспортность, «охоту к перемене мест». Она искала и до сих пор продолжает искать, где ей лучше, как рыба ищет, где ей глубже, но что простительно рыбе, то совершенно непростительно эмиграции! Она то и дело что путается под ногами у знатных иностранцев, с которыми позволяет себе здороваться за руку и даже переходить на ты. Она не смущается ни визами, ни коридорами, ни кордонами, ни карантинами, и заполняет собой решительно все. В том, что в благоустроенных государствах с конституциями, с парламентами, с электричеством, газом и центральным отоплением она основала свое собственное государство, внедрившись со своими нравами, обычаями и законами в приютившие ее страны. Но и этого мало: она успела, несмотря на то что все время находится в бегах, народить детей, напичкать их мукой нестле, и таким образом создать себе прочную смену. И теперь эти цветы жизни будут продолжать то же самое – распространяться по Европе, по Америке, по всему миру. В том, что, окопавшись в чужой стране, она не пожелала и не желает слиться воедино с живущими бок о бок с ней местными жителями, которых возмутительно искренне продолжает считать иностранцами. А по ночам, когда вся Европа спит и видит сны, опять и опять садится она в кружок и попивает чаек, не имея при этом никаких сберегательных книжек. Она по-прежнему жаждет форточек и филипповских калачей и вместо того, чтобы честно сказать «километр», упорно говорит – «верста»! Она живет по-своему, не считаясь ни с чем, ни со столетием романтизма, ни со столетием Мистингетт!

Принимая во внимание все вышеизложенное, русская эмиграция предается суду общественного мнения с участием господ сословных представителей.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

ДОПРОС К.А.КОРОВИНА

Председатель. Ваше звание, имя, отчество и фамилия?

К.А. Коровин. Академик Коровин. Константин Алексеевич.

Прокурор. Должен вам сказать комплимент, вы поразительно сохранились!

Коровин (выпрямляясь). Мне и сохраняться нечего… это у меня только борода пожилая… а так, я еще себя героем чувствую.

Защитник. Стало быть «и академик, и герой»?

Коровин (иронически). Увы! – «и мореплаватель и плотник».

Прокурор. Скажите, свидетель, вы, если не ошибаюсь, были в свое время передвижником?

Коровин (отрицательно качая головой). Нет, наоборот, – в свое время и был именно независимым, а теперь, в беженстве, поневоле передвижником сделался! – Десять лет с места на место передвигаюсь…

Председатель. Скажите, свидетель, как вы относитесь к эмиграции?

Коровин (пожимая плечами). Сочувствую, но помочь не могу.

Прокурор. А эмиграция к вам?

Коровин. Взаимно.

Защитник. А как вам работается… на чужбине?

Коровин. Да… как вам сказать? Работаю, как всегда, как всю жизнь… Один внук мой чего стоит! Крупный заказчик! Все требует, чтоб я ему Дуду с утра до вечера рисовал…

Прокурор. Ну и что ж рисуете?

Коровин (с усмешкой). Сразу видать, что вы не дедушка… Конечно, рисую!

Защитник. А скажите, свидетель, как вам, вообще, кажутся здешние условия работы? Удобно ли вам здесь работать, спокойно ли, уютно?

Коровин. По совести сказать, в Феклином бору, во Владимирской губернии, было, конечно, спокойнее, зато комары одолевали… А тут, грех жаловаться, комаров нет и в помине. Зато, гость мучает! Днем на чаек, вечером на огонек. А спрятаться некуда. .. До высшей степени беззащитное положение.

Прокурор. Прошу это заявление свидетеля занести в протокол.

Председатель. Больше вопросов стороны не имеют?

Защитник. Я вопросов не имею.

Прокурор. Я также.

Председатель. Благодарю вас, Константин Алексеевич, вы свободны.

Коровин садится на место.

ДОПРОС М.Ф.КШЕСИНСКОЙ

Председатель. Ваше имя, отчество, фамилия!

М.Ф.Кшесинская. Матильда Феликсовна Кшесинская.12

Председатель. Ваша профессия, свидетельница? Чем вы занимаетесь?

Кшесинская. Храню заветы русского искусства!

Прокурор. В чем же именно это выражается?

Кшесинская. В верности своему призванию! в служении русскому балету! в подготовке кадров будущих балерин!..

Защитник. Должны ли мы вас понять так, что, несмотря на тяжкие условия жизни на чужбине, вы с той же энергией и с тем же вдохновением продолжаете нести ваш ответственный и высокий труд?

Кшесинская (со вздохом, секундной паузой и с гордой решимостью). Да!

Прокурор. А не полагает ли свидетельница, что она этим самым наносит ущерб престижу туземного балета?

Председатель. Помните, свидетельница, что на вопросы, на которые вы не желаете, вы имеете право не отвечать!..

Кшесинская. В таком случае я воспользуюсь своим правом.

Прокурор. А скажите, свидетельница, что вы знаете по существу дела?

Кшесинская. Существо дела очень просто, по крайней мере, для меня. Русскую Сандрильону13 разули. Золотой ее башмачок исчез! Но и в бедных туфельках изгнания она ухитрилась показать Европе и Америке, что такое русский стальной носок!

Прокурор. Прошу суд обратить внимание на интереснейшее обстоятельство: в то время, как вся Европа сплошь занята проблемами разоружения, русские балерины продолжают угрожать миру стальным носком.

Кшесинская. Господин прокурор, очевидно, думает, что стальной носок нечто вроде стальной каски. Смею его уверить, что когда мы танцуем, мы, может быть, стремимся покорять, но не завоевывать.

Председатель. Стороны не имеют никаких вопросов?

Прокурор. Нет-с.

Защитник. Вопросов не имею.

Председатель. Благодарю вас, свидетельница, вы свободны.

Кшесинская садится на место.

МАРЬЯ ИВАНОВНА-ВТОРЫЕ РУКИ14

Председатель. Ваше имя, отчество, фамилия?

М.И. Марья Ивановна-Вторые руки.

Председатель. Что же вы этими руками делаете?

М .И. Спассаживаю , строчу, делаю выточки, бордерую15, подбираю, выпускаю, подхватываю и свожу на нет.

Председатель. И сводите на нет. Так-с. А что вы можете сказать по делу по обвинению русской эмиграции?

М.И. (думает). Эмиграция – это я.

Председатель. В таком случае, что вы можете сказать в свое оправдание?

Прокурор (кричит). После сделанного заявления место этой свидетельницы на скамье подсудимых, а не у свидетельского барьера.

Защитник. Еще неизвестно, где ваше место!

Председатель. Господа, призываю вас к порядку! Итак, свидетельница, что вы имеете сказать?

М.И. Сказать я имею следующее: Вторые руки – это фикция, это выдумано мужчинами, чтобы унизить женщину, жену, хозяйку и мать. Вторые руки – это когда-то было и давно прошло, а сейчас «вторые руки» это и вторые, и первые, и пятые и десятые.

Председатель. Поясните вашу мысль.

М.И. Вторые руки, как я сказала, спассаживают, подхватывают и сводят на нет. А кроме того, – готовят, чинят, штопают, моют, стирают, гладят, ходят на рынок, порют детей, разговаривают по налогам… какие же это вторые руки, г-н председатель? Конечно, вы, как мужчина, г-н председатель…

Прокурор. Как прикажете понять вас?

М.И. А так понять, что эмиграцию надо не судить, а что-нибудь ей подарить на память, хотя бы какую-нибудь медаль, что ли… Небось, за десять лет она заслужила…

Председатель. Да, как же это фактически сделать? и кому эту медаль дать?

М.И. Да. Хотя бы и мне!

Председатель. Я просил бы вас, Вторые руки, быть более серьезной. Вы в суде.

М.И. Извиняюсь. Так редко приходится пользоваться развлечениями, что мне казалось…

Председатель. Стороны не имеют вопросов?

Свидетельница, вы свободны.

Свидетельница пренебрежительно кланяется и садится на место.

ДОПРОС А.Н.ВЕРТИНСКОГО

Председатель. Ваше имя, отчество, фамилия?

Вертинский. Вертинский!

Председатель. Ваша профессия?

Вертинский (пожимая плечами). Вертинский!..

Председатель. Ваша программа-минимум?

Вертинский. Гм… минимум? – «ракель Меллер» и «Испано-Суиза».16

Прокурор. Вам известно, г-н Вертинский, что мы собрались здесь – судить русскую эмиграцию?

Вертинский (пародируя самого себя, чуть нараспев). «Я не знаю зачем, и кому это нужно…».

Защитник. Расскажите нам, свидетель, как сложилась ваша эмигрантская жизнь? (скороговоркой). С чего она началась? На чем строилась. Во что вылилась? И куда…

Вертинский (перебивая). «Ну, погоди, ну погоди минуточку…» (трет себе лоб, задумывается). Как это было… – сначала «в комнате белели ваши блузки»… «а потом… пришел бразильский крейсер…» «Пришлось сесть и уехать…» «В притоны Сан-Франциско». И конечно, «все лакеи и лорды перепутались в кино —тумане…» (заметив, что защитник пьет воду, ласково обращается к нему): «Пей, моя деточка, пей, моя милая!..»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.